КЛАССНАЯ КЛАССИКА



Валентин Распутин

УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО

Махаон

Уроки французского [сборник 2024, худ. Максимова И., Петрова Е.]

Валентин Григорьевич Распутин

Аннотация
Валентин Распутин. Уроки французского. (рассказы)
«В начале жизни школу помню я…»
Мама куда-то ушла. (Рисунки Е. Петровой)
Уроки французского. (Рисунки И. Максимовой)
Век живи — век люби. (Рисунки Е. Петровой)

Аннотация

Валентин Распутин (1937–2015) — классик русской и мировой литературы, много размышлявший о судьбах своих современников. Свою жизненную позицию он когда-то сформулировал так: «…защищать совесть, веру и красоту».

Рассказы «Мама куда-то ушла», «Уроки французского» и «Век живи — век люби», которые входят в эту книгу, повествуют о трёх героях, мальчиках разного возраста, которые оказываются в непростых жизненных ситуациях. Какие уроки они вынесут для себя?

Для среднего школьного возраста.

Художники: Ирина Максимова, Екатерина Петрова.

Вступительная статья С. В. Перевалова.

Валентин Распутин
Уроки французского
(рассказы)



Валентин Григорьевич Распутин
(1937 – 2015)

Валентин Распутин

УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО

Рассказы



Художники
И. Максимова, Е. Петрова

Москва
«Махаон»

КЛАССНАЯ КЛАССИКА



© Распутин В. Г., наследники, 2024
© Максимова И. В., иллюстрации, 2024
© Петрова Е. Д., иллюстрации, 2024
© Оформление, вступительная статья.
ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2024 Machaon

«В начале жизни школу помню я…»

Книги В. Г. Распутина из числа тех, которые, по словам А. С. Пушкина, можно назвать «школой жизни». Написанные о судьбах и характерах наших современников, они заставляют думать, размышлять и помнить о «врождённом чувстве вечности, существующем между родителями и детьми». Рассказ «Мама куда-то ушла» передаёт недоумение и досаду маленького героя, который, проснувшись, впервые обнаружил, что он в квартире один. Отсутствие мамы ничто не может восполнить, даже любимая игрушка, одноногий заяц, безропотно выполняющий роль «больного». Писатель, внимательный к детским шалостям, подмечает: «Заяц к уколам привык и никак на них не реагировал». А вот к чему даже игрушечный заяц «не привык», так это к детской жестокости. Не хотят «привыкать» к ней и читатели рассказа. И когда мальчишка «швырнул» зайца на пол, требуя от него сказать, куда ушла мама, молчаливая обида «больного» неожиданно обернулась живой болью. Увидев, как «беззвучно

плачет» заяц, мальчик виновато сказал: «Мама куда-то ушла». Она, конечно, вернётся и успокоит малыша, который «плакал от боли и одиночества. Что такое боль, он уже знал. С одиночеством он встретился впервые». Читателя утешает надежда: малыш вырастет добрым, способным прийти на помощь страдающим, понимая, что самая тяжёлая боль — боль одиночества.

Недаром, словно прослеживая путь своего взрослеющего героя в большую жизнь, писатель скажет: только «тому, кто её не имеет, самостоятельность кажется настолько привлекательной и увлекательной штукой, что он отдаст за неё что угодно». Герой рассказа «Уроки французского», вспоминая осень 1948 года, когда ему пришлось из родной деревни, где была только начальная школа, перебраться в районный центр, «чтобы учиться дальше», горько вздохнёт: «Так, в одиннадцать лет, началась моя самостоятельная жизнь». Этот вздох хорошо знаком и самому Распутину (рассказ во многом автобиографичный): в первый класс в родной Аталанке будущий писатель пришёл в военном 1944-м, а 1948 году продолжил учёбу в школе за пятьдесят километров от дома. Там он на себе испытал, что такое «трудный хлеб детства». О хлебе, собственно, и речь. Изнуряющее

чувство голода усиливает одиночество. Но выдерживать испытания помогает то, что мальчик совестливый, родившийся, как и сам Распутин, в крестьянской семье и не умевший «относиться спустя рукава к тому», что на него «возлагалось», да, по признанию односельчан, «башковитый», учился хорошо, отставал только по иностранному. Поначалу герой осознаёт беспомощность перед «дикой тоской по дому», «деревянным» своим языком, коверкающим французские слова, а ещё — перед грубой силой старших школьников и предательством одноклассников. Позднее он с радостью отметит: «Я уже был не тот безответный и беспомощный мальчишка». Это стало возможно благодаря участию в его судьбе Лидии Михайловны, преподававшей «загадочный французский язык». Она не только «подтянула» его по своему предмету, но и помогла «переупрямить» жизненные сложности. Писатель утверждает: самое важное для учителя — учить не только русскому, иностранному, математике, а учить главному предмету в школе жизни — доброте.

В рассказе «Век живи — век люби» пятнадцатилетнего Саню некому поддержать, он должен сам принимать решения. Писатель привлекает внимание к тому, что сердце взрослеющего человека

ранят жестокость, зависть, порой прикрываемые дружелюбием, а врачуют — добросердечие окружающих и целительная сила природы. Саня оказывается беззащитным перед подлостью, но всё-таки выносит из своего самостоятельного таёжного путешествия урок любви к миру и к природе, помогающей заглушить в сознании подростка всё низменное и злое. Ведь это родная сердцу писателя Сибирь, её могучая Ангара, «несущая байкальскую воду к Енисею», и сам «священный Байкал». В этих краях появился на свет и сегодня работает великий русский писатель Валентин Григорьевич Распутин, здесь постигают жизненные «университеты» его герои.

С. В. Перевалова, доктор филологических наук

Мама куда-то ушла
(Рисунки Е. Петровой)



Мальчишка открыл глаза и увидел ползающую по потолку муху. Он поморгал и стал смотреть, куда она ползёт.

Муха двигалась в ту сторону, где было окно. Она бежала не останавливаясь, и получалось это у неё очень быстро.

Мальчишка решил, что она бежит по дороге, и стал ждать, не поползёт ли за ней ещё одна, чтобы удостовериться, действительно ли это дорога. Но больше мух не было. Они, правда, были, но по потолку не бегали, и мальчишка быстро по-

терял к ним интерес. Он приподнялся в кровати и крикнул:

— Мама, я проснулся!

Никто ему не ответил.

— Мама! — позвал он. — Я молодец, я проснулся.

Тишина.

Мальчишка подождал, но тишина не прошла.

Тогда он спрыгнул с кровати и босиком побежал в большую комнату. Она была пуста. Он посмотрел по очереди на кресло, на стол, на книжные полки, но возле них никого не было. Они стояли просто так, занимая место.

Мальчишка бросился на кухню, потом в ванную — там тоже никто не прятался.

— Мама! — крикнул мальчишка.

Тишина вобрала в себя его крик и сразу сомкнулась. Мальчишка, не поверив ей, снова бросился в свою комнату, оставляя от босых пяток и пальцев на крашеном полу следы, которые, остывая, растворялись и исчезали.

— Мама, — как можно спокойнее сказал мальчишка, — я проснулся, а тебя нету.

Молчание.

— Тебя нету, да? — спросил он.

Его лицо напряглось в ожидании ответа, он

поворачивал его во все стороны, но ответ не пришёл, и мальчишка заплакал.

Плача, он пошёл к двери и стал её дёргать. Дверь не поддавалась. Тогда он ударил её ладонью, потом ткнул босой ногой, зашиб ногу и заплакал ещё громче.

Он стоял посреди комнаты, и крупные тёплые слёзы выкатывались из его глаз и падали на крашеный пол. Потом, не переставая плакать, он сел.

Всё вокруг прислушивалось к нему, и всё молчало.

Он ждал, что вот-вот за его спиной послышатся шаги, но их всё не было, и он никак не мог успокоиться.

Это продолжалось долго, а сколько, он не знал.

В конце концов он лёг на пол и стал плакать лёжа. Он так устал, что перестал чувствовать себя, и уже не понимал, что плачет. Этот плач был так же естествен, как дыхание, и уже не подчинялся ему. Наоборот, он был сильнее его.

И вдруг мальчишке показалось, что в комнате кто-то есть.

Он быстро вскочил на ноги и стал осматриваться. Ощущение, заставившее его подняться, не проходило, и мальчишка побежал в другую

комнату, потом в кухню и ванную. Там никто не появился.

Всхлипывая, мальчишка вернулся и закрыл ладонями глаза. Потом он убрал ладони и ещё раз осмотрелся. В комнате ничего не изменилось. Кресло пустовало, стол стоял один, на книжных полках, как всегда, были книги, но их разноцветные корешки смотрели грустно и слепо. Мальчишка задумался.

— Я больше не буду плакать, — сказал он себе. — Придёт мама, я буду молодец.

Он пошёл к кровати и одеялом вытер своё заплаканное лицо. Затем неторопливо, словно прогуливаясь, он обошёл всё, что было у них в квартире. И тут ему в голову пришла блестящая мысль.

— Мама, — негромко сказал он, — я хочу на горшок.

Он не хотел на горшок, но это было то, что заставило бы мать, будь она дома, тотчас броситься к нему.

— Ма-ма, — повторил он.

Её не было дома, теперь он понял это окончательно.

Надо было что-то делать. «Я сейчас поиграю, и мама придёт», — решил он. Он пошёл в угол,

где были все его игрушки, и взял зайца. Заяц был его любимцем. У него отклеилась одна нога, отец несколько раз предлагал мальчишке приклеить эту ногу, но тот никак не соглашался. С двумя ногами зайца любить было бы не за что, так он и оставался с одной, а вторая валялась где-то здесь же и теперь существовала сама по себе.

— Давай играть, зайка, — предложил мальчишка.

Заяц молча согласился.

— Ты больной, у тебя ножка болит, я тебя сейчас буду лечить.

Мальчишка положил зайца на кровать, достал гвоздь и ткнул им зайца в живот, делая укол.

Заяц к уколам привык и никак на них не отзывался.

Мальчишка задумался, потом, словно что-то вспомнив, отошёл от кровати и заглянул в большую комнату. Там ничего не изменилось, и тишина по-прежнему всё так же медленно раскачивалась из угла в угол.



Мальчишка, вздохнув, вернулся к кровати и посмотрел на зайца. Тот спокойно лежал на подушке.

— Нет, не так, — сказал мальчишка. — Теперь я буду зайкой, а ты маленьким мальчиком. Ты будешь меня лечить.

Он посадил зайца на стул, а сам лёг в кровать, поджал под себя одну ногу и заплакал.

Заяц, сидя на стуле, удивлённо смотрел на него

своими большими голубыми глазами.

— Я зайка, у меня ножка болит, — объяснил ему мальчишка.

Заяц молчал.

— Зайка, — спросил он потом, — куда ушла мама?

Заяц не ответил.

— Ты не спал, ты знаешь, говори, куда ушла мама? — потребовал мальчишка и взял зайца в руки.

Заяц молчал.

Мальчишка забыл, что раньше он сам всегда отвечал за зайца, выступая сразу в двух ролях, и теперь всерьёз требовал от него ответа. Он забыл, что заяц был только игрушкой среди игрушек — среди кубиков, которые становились друг на друга, только когда их ставили, среди машин, которые шли, только когда их вели, среди зверей, которые рычали и разговаривали, только когда за них кто-нибудь рычал и отвечал.

Он обо всём забыл, этот мальчишка.

— Говори, говори! — требовал он.

Заяц продолжал молчать.

Мальчишка швырнул его на пол, спрыгнул с кровати и, бросившись на зайца, стал его пинать.

Заяц катался по полу, подскакивал, крутился, и мальчишка тоже подскакивал и крутился вокруг него и всё повторял: «Говори, говори, говори!» — но заяц не отвечал и не мог от него никуда убежать, потому что он был с одной ногой. И мальчишка вдруг понял это. Он остановился. Он стоял и смотрел, как заяц, уткнувшись лицом в пол, беззвучно плачет. И он услышал этот плач. Он наклонился над зайцем, развёл руками и виновато сказал:

— Мама куда-то ушла.

И вдруг мальчишке показалось, что по лестнице кто-то поднимается.

— Мама! — закричал он, бросаясь к двери, но запнулся о кресло и упал. Он поднялся, прислушиваясь, но за дверью никого не было. И тогда мальчишка снова заплакал. Он плакал от боли и одиночества. Что такое боль, он уже знал. С одиночеством он встретился впервые.

1966 г.



Уроки французского
(Рисунки И. Максимовой)



Анастасии Прокопьевне Копыловой

Странно: почему мы, так же как и перед родителями, всякий раз чувствуем свою вину перед учителями? И не за то вовсе, что было в школе, — нет, а за то, что сталось с нами после.

* * *

Я пошёл в пятый класс в сорок восьмом году. Правильней сказать, поехал: у нас в деревне была

только начальная школа, поэтому, чтобы учиться дальше, мне пришлось снаряжаться из дому за пятьдесят километров в райцентр. За неделю раньше туда съездила мать, уговорилась со своей знакомой, что я буду квартировать у неё, а в последний день августа дядя Ваня, шофёр единственной в колхозе полуторки, выгрузил меня на улице Подкаменной, где мне предстояло жить, помог занести в дом узел с постелью, ободряюще похлопал на прощанье по плечу и укатил. Так, в одиннадцать лет, началась моя самостоятельная жизнь.

Голод в тот год ещё не отпустил, а нас у матери было трое, я самый старший. Весной, когда пришлось особенно туго, я глотал сам и заставлял глотать сестрёнку глазки проросшей картошки и зёрна овса и ржи, чтобы развести посадки в животе, — тогда не придётся всё время думать о еде. Всё лето мы старательно поливали свои семена чистой ангарской водичкой, но урожая почему-то не дождались или он был настолько мал, что мы его не почувствовали. Впрочем, я думаю, что затея эта не совсем бесполезная и человеку когда-нибудь ещё пригодится, а мы по неопытности что-то там делали неверно.

Трудно сказать, как решилась мать отпустить

меня в район (райцентр у нас называли районом). Жили мы без отца, жили совсем плохо, и она, видно, рассудила, что хуже уже не будет — некуда. Учился я хорошо, в школу ходил с удовольствием и в деревне признавался за грамотея: писал за старух и читал письма, перебрал все книжки, которые оказались в нашей неказистой библиотеке, и по вечерам рассказывал из них ребятам всякие истории, больше того добавляя от себя. Но особенно в меня верили, когда дело касалось облигаций. Их за войну у людей скопилось много, таблицы выигрышей приходили часто, и тогда облигации несли ко мне. Считалось, что у меня счастливый глаз. Выигрыши и правда случались, чаще всего мелкие, но колхозник в те годы рад был любой копейке, а тут из моих рук сваливалась и совсем нечаянная удача. Радость от неё невольно перепадала и мне. Меня выделяли из деревенской ребятни, даже подкармливали; однажды дядя Илья, в общем-то скупой, прижимистый старик, выиграв четыреста рублей, сгоряча нагрёб мне ведро картошки — под весну это было немалое богатство.

И всё потому же, что я разбирался в номерах облигаций, матери говорили:

— Башковитый у тебя парень растёт. Ты это…

давай учи его. Грамота зря не пропадёт.



И мать, наперекор всем несчастьям, собрала меня, хотя до того никто из нашей деревни в районе не учился. Я был первый. Да я и не понимал как следует, что мне предстоит, какие испытания ждут меня, голубчика, на новом месте.

Учился я и тут хорошо. Что мне оставалось? За тем я сюда и приехал, другого дела у меня здесь не было, а относиться спустя рукава к тому, что на меня возлагалось, я тогда ещё не умел. Едва ли осмелился бы я пойти в школу, останься у меня невыученным хоть один урок, поэтому по всем предметам, кроме французского, у меня держались пятёрки.

С французским у меня не ладилось из-за произношения. Я легко запоминал слова и обороты, быстро переводил, прекрасно справлялся с трудностями правописания, но произношение с головой выдавало всё моё ангарское происхождение вплоть до последнего колена, где никто сроду не выговаривал иностранных слов, если вообще подозревал об их существовании. Я шпарил по-французски на манер наших деревенских скороговорок, половину звуков за ненадобностью проглатывая, а вторую половину выпаливая короткими лающими очередями. Лидия Михайловна, учительница французского, слушая

меня, бессильно морщилась и закрывала глаза. Ничего подобного она, конечно, не слыхивала. Снова и снова она показывала, как произносятся носовые, сочетания гласных, просила повторить — я терялся, язык у меня во рту деревенел и не двигался. Всё было впустую. Но самое страшное начиналось, когда я приходил из школы. Там я невольно отвлекался, всё время вынужден был что-то делать, там меня тормошили ребята, вместе с ними — хочешь не хочешь — приходилось двигаться, играть, а на уроках — работать. Но едва я оставался один, сразу наваливалась тоска — тоска по дому, по деревне. Никогда раньше даже на день я не отлучался из семьи и, конечно, не был готов к тому, чтобы жить среди чужих людей. Так мне было плохо, так горько и постыло — хуже всякой болезни. Хотелось только одного, мечталось об одном — домой и домой. Я сильно похудел; мать, приехавшая в конце сентября, испугалась за меня. При ней я крепился, не жаловался и не плакал, но, когда она стала уезжать, не выдержал и с рёвом погнался за машиной. Мать махала мне рукой из кузова, чтобы я отстал, не позорил себя и её, — я ничего не понимал. Тогда она решилась и остановила машину.

— Собирайся, — потребовала она, когда я подо-

шёл. — Хватит, отучился, поедем домой.

Я опомнился и убежал.



Но похудел я не только из-за тоски по дому. К тому же ещё я постоянно недоедал. Осенью, пока дядя Ваня возил на своей полуторке хлеб в Заготзерно, стоявшее неподалёку от райцентра, еду мне присылали довольно часто, примерно раз в

неделю. Но вся беда в том, что мне её не хватало. Ничего там не было, кроме хлеба и картошки, изредка мать набивала в баночку творогу, который у кого-то под что-то брала: корову она не держала. Привезут — кажется много, хватишься через два дня — пусто. Я очень скоро стал замечать, что добрая половина моего хлеба куда-то самым таинственным образом исчезает. Проверил — так и есть: был — нету. То же самое творилось с картошкой. Кто потаскивал — тётя Надя ли, крикливая, замотанная женщина, которая одна мыкалась с тремя ребятишками, кто-то из её старших девчонок или младший, Федька, — я не знал, я боялся даже думать об этом, не то что следить. Обидно было только, что мать ради меня отрывает последнее от своих, от сестрёнки с братишкой, а оно всё равно идёт мимо. Но я заставил себя смириться и с этим. Легче матери не станет, если она услышит правду.

Голод здесь совсем не походил на голод в деревне. Там всегда, и особенно осенью, можно было что-то перехватить, сорвать, выкопать, поднять, в Ангаре ходила рыба, в лесу летала птица. Тут для меня все вокруг было пусто: чужие люди, чужие огороды, чужая земля. Небольшую речушку на десять рядов процеживали бреднями. Я как-то

в воскресенье просидел с удочкой весь день и поймал трёх маленьких, с чайную ложку, пескариков — от такой рыбалки тоже не раздобреешь. Больше не ходил — что зря время переводить! По вечерам околачивался у чайной, на базаре, запоминая, что почём продают, давился слюной и шёл ни с чем обратно. На плите у тёти Нади стоял горячий чайник; пошвыркав гольного кипяточку и согрев желудок, ложился спать. Утром опять в школу. Так и дотягивал до того счастливого часа, когда к воротам подъезжала полуторка и в дверь стучал дядя Ваня. Наголодавшись и зная, что харч мой всё равно долго не продержится, как бы я его ни экономил, я наедался до отвала, до рези в животе, а затем, через день или два, снова подсаживал зубы на полку.

* * *

Однажды, ещё в сентябре, Федька спросил у меня:

— Ты в «чику» играть не боишься?

— В какую «чику»? — не понял я.

— Игра такая. На деньги. Если деньги есть, пойдём сыграем.

— Нету.

— И у меня нету. Пойдём так, хоть посмотрим.

Увидишь, как здорово.

Федька повёл меня за огороды. Мы прошли по краю продолговатого, грядой, холма, сплошь заросшего крапивой, уже чёрной, спутанной, с отвисшими ядовитыми гроздьями семян, перебрались, прыгая по кучам, через старую свалку и в низинке, на чистой и ровной небольшой поляне, увидели ребят. Мы подошли. Ребята насторожились. Все они были примерно тех же лет, что и я, кроме одного — рослого и крепкого, заметного своей силой и властью парня с длинной рыжей чёлкой. Я вспомнил: он ходил в седьмой класс.

— Этого ещё зачем привёл? — недовольно сказал он Федьке.

— Он свой, Вадик, свой, — стал оправдываться Федька. — Он у нас живёт.

— Играть будешь? — спросил меня Вадик.

— Денег нету.

— Гляди не вякни кому, что мы здесь.

— Вот ещё! — обиделся я.

Больше на меня не обращали внимания, я отошёл в сторонку и стал наблюдать. Играли не все — то шестеро, то семеро, остальные только глазели, болея в основном за Вадика. Хозяйничал здесь он, это я понял сразу.

Разобраться в игре ничего не стоило. Каждый

выкладывал на кон по десять копеек, стопку монет решками вверх опускали на площадку, ограниченную жирной чертой метрах в двух от кассы, а с другой стороны, от валуна, вросшего в землю и служившего упором для передней ноги, бросали круглую каменную шайбу. Бросать её надо было с тем расчётом, чтобы она как можно ближе подкатилась к черте, но не вышла за неё, — тогда ты получал право первым разбивать кассу. Били всё той же шайбой, стараясь перевернуть монеты на орла. Перевернул — твоя, бей дальше, нет — отдай это право следующему. Но важней всего считалось ещё при броске накрыть шайбой монеты, и, если хоть одна из них оказывалась на орле, вся касса без разговоров переходила в твой карман и игра начиналась снова.

Вадик хитрил. Он шёл к валуну после всех, когда полная картина очерёдности была у него перед глазами и он видел, куда бросать, чтобы выйти вперёд. Деньги доставались первым, до последних они доходили редко. Наверное, все понимали, что Вадик хитрит, но сказать ему об этом никто не смел. Правда, и играл он хорошо. Подходя к камню, чуть приседал, прищурившись, наводил шайбу на цель и неторопливо, плавно выпрямлялся — шайба выскальзывала из

его руки и летела туда, куда он метил. Быстрым движением головы он забрасывал съехавшую чёлку наверх, небрежно сплёвывал в сторону, показывая, что дело сделано, и ленивым, нарочито замедленным шагом ступал к деньгам. Если они были в куче, бил резко, со звоном, одиночные же монетки трогал шайбой осторожно, с накатиком, чтобы монетка не билась и не крутилась в воздухе, а, не поднимаясь высоко, всего лишь переваливалась на другую сторону. Никто больше так не умел. Ребята лупили наобум и доставали новые монеты, а кому нечего было доставать, переходили в зрители.

Мне казалось, что, будь у меня деньги, я бы смог играть. В деревне мы возились с бабками, но и там нужен точный глаз. А я, кроме того, любил придумывать для себя забавы на меткость: наберу горсть камней, отыщу цель потруднее и бросаю в неё до тех пор, пока не добьюсь полного результата — десять из десяти. Бросал и сверху, из-за плеча, и снизу, навешивая камень над целью. Так что кой-какая сноровка у меня была. Не было денег.

Мать потому и отправляла мне хлеб, что денег у нас не водилось, иначе я покупал бы его и здесь. Откуда им в колхозе взяться? Всё же раза два она

подкладывала мне в письмо по пятёрке — на молоко. На теперешние это пятьдесят копеек, не разживёшься, но всё равно деньги, на них на базаре можно было купить пять поллитровых баночек молока, по рублю за баночку. Молоко мне наказано пить от малокровия, у меня часто ни с того ни с сего принималась вдруг кружиться голова.

Но, получив пятёрку в третий раз, я не пошёл за молоком, а разменял её на мелочь и отправился за свалку. Место здесь было выбрано с толком, ничего не скажешь: полянка, замкнутая холмами, ниоткуда не просматривалась. В селе, на виду у взрослых, за такие игры гоняли, грозили директором и милицией. Тут нам никто не мешал. И недалеко, за десять минут добежишь.

В первый раз я спустил девяносто копеек, во второй — шестьдесят. Денег было, конечно, жалко, но я чувствовал, что приноравливаюсь к игре, рука постепенно привыкала к шайбе, училась отпускать для броска ровно столько силы, сколько требовалось, чтобы шайба пошла верно, глаза тоже учились заранее знать, куда она упадёт и сколько ещё прокатится по земле. По вечерам, когда все расходились, я снова возвращался сюда, доставал из-под камня спрятанную Вади-

ком шайбу, выгребал из кармана свою мелочь и бросал, пока не темнело. Я добился того, что из десяти бросков три или четыре угадывали точно на деньги.

И наконец наступил день, когда я остался в выигрыше.

Осень стояла тёплая и сухая. Ещё и в октябре пригревало так, что можно было ходить в рубашке, дожди выпадали редко и казались случайными, ненароком занесёнными откуда-то из непогодья слабым попутным ветерком. Небо синело совсем по-летнему, но стало словно бы у́же, и солнце заходило рано. Над холмами в чистые часы курился воздух, разнося горьковатый, дурманящий запах сухой полыни, ясно звучали дальние голоса, кричали отлетающие птицы. Трава на нашей поляне, пожелтевшая и сморённая, всё же осталась живой и мягкой, на ней возились свободные от игры, а лучше сказать, проигравшиеся ребята.



Теперь каждый день после школы я прибегал сюда. Ребята менялись, появлялись новички, и только Вадик не пропускал ни одной игры. Она без него и не начиналась. За Вадиком как тень следовал большеголовый, стриженный под машинку, коренастый парень по прозвищу Птаха. В школе я Птаху до этого не встречал, но, забегая вперёд, скажу, что в третьей четверти он вдруг как снег на голову свалился на наш класс. Оказывается, остался в пятом на второй год и под каким-то предлогом устроил себе до января каникулы. Птаха тоже обычно выигрывал, хоть

и не так, как Вадик, поменьше, но в убытке не оставался. Да потому, наверно, и не оставался, что был заодно с Вадиком и тот ему потихоньку помогал.

Из нашего класса на полянку иногда набегал Тишкин, суетливый, с моргающими глазёнками мальчишка, любивший на уроках поднимать руку. Знает, не знает — всё равно тянет. Вызовут — молчит.

— Что ж ты руку поднимал? — спрашивают Тишкина.

Он шлёпал своими глазёнками:

— Я помнил, а пока вставал, забыл.



Я с ним не дружил. От робости, молчаливости, излишней деревенской замкнутости, а главное — от дикой тоски по дому, не оставлявшей во мне никаких желаний, ни с кем из ребят я тогда ещё не сошёлся. Их ко мне тоже не тянуло, я оставался один, не понимая и не выделяя из горького своего положения одиночества: один — потому что здесь, а не дома, не в деревне, там у меня товарищей много.

Тишкин, казалось, и не замечал меня на полянке. Быстро проигравшись, он исчезал и появлялся

снова не скоро.

А я выигрывал. Я стал выигрывать постоянно, каждый день. У меня был свой расчёт: не надо катать шайбу по площадке, добиваясь права на первый удар; когда много играющих, это непросто: чем ближе тянешься к черте, тем больше опасности перевалить за неё и остаться последним. Надо накрывать кассу при броске. Так я и делал. Конечно, я рисковал, но при моей сноровке это был оправданный риск. Я мог проиграть три, четыре раза подряд, зато на пятый, забрав кассу, возвращал свой проигрыш втройне. Снова проигрывал и снова возвращал. Мне редко приходилось стучать шайбой по монетам, но и тут я пользовался своим приёмом: если Вадик бил с накатом на себя, я, наоборот, тюкал от себя — так было непривычно, но так шайба придерживала монету, не давала ей вертеться и, отходя, переворачивала вслед за собой.

Теперь у меня появились деньги. Я не позволял себе чересчур увлекаться игрой и торчать на полянке до вечера, мне нужен был только рубль, каждый день по рублю. Получив его, я убегал, покупал на базаре баночку молока (тётки ворчали, глядя на мои погнутые, побитые, истерзанные монеты, но молоко наливали), обедал и садился

за уроки. Досыта всё равно я не наедался, но уже одна мысль, что я пью молоко, прибавляла мне силы и смиряла голод. Мне стало казаться, что и голова теперь у меня кружится гораздо меньше.

Поначалу Вадик спокойно относился к моим выигрышам. Он и сам не оставался внакладе, а из его карманов вряд ли мне что-нибудь перепадало. Иногда он даже похваливал меня: вот, мол, как надо бросать, учитесь, мазилы. Однако вскоре Вадик заметил, что я слишком быстро выхожу из игры, и однажды остановил меня:

— Ты что это — загрёб кассу и драть? Ишь шустрый какой! Играй.

— Мне уроки надо, Вадик, делать, — стал отговариваться я.

— Кому надо делать уроки, тот сюда не ходит.

А Птаха подпел:

— Кто тебе сказал, что так играют на деньги? За это, хочешь знать, бьют маленько. Понял?

Больше Вадик не давал мне шайбу раньше себя и подпускал к камню только последним. Он хорошо бросал, и нередко я лез в карман за новой монетой, не прикоснувшись к шайбе. Но я бросал лучше, и, если уж мне доставалась возможность бросать, шайба, как намагниченная, летела точно на деньги. Я и сам удивлялся своей меткости,

мне надо бы догадаться придержать её, играть незаметней, а я бесхитростно и безжалостно продолжал бомбить кассу. Откуда мне было знать, что никогда и никому ещё не прощалось, если в своём деле он вырывается вперёд? Не жди тогда пощады, не ищи заступничества, для других он выскочка, и больше всех ненавидит его тот, кто идёт за ним следом. Эту науку мне пришлось в ту осень постигнуть на собственной шкуре.

Я только что опять угодил в деньги и шёл собирать их, когда заметил, что Вадик наступил ногой на одну из рассыпавшихся по сторонам монет. Все остальные лежали вверх решками. В таких случаях при броске обычно кричат «в склад!», чтобы — если не окажется орла — собрать для удара деньги в одну кучу, но я, как всегда, понадеялся на удачу и не крикнул.

— Не в склад! — объявил Вадик.

Я подошёл к нему и попытался сдвинуть его ногу с монеты, но он оттолкнул меня, быстро схватил её с земли и показал мне решку. Я успел заметить, что монета была на орле, — иначе он не стал бы её закрывать.

— Ты перевернул её, — сказал я. — Она была на орле, я видел.

Он сунул мне под нос кулак:

— А этого ты не видел? Понюхай, чем пахнет.

Мне пришлось смириться. Настаивать на своём было бессмысленно: если начнётся драка, никто, ни одна душа за меня не заступится, даже Тишкин, который вертелся тут же.

Злые, прищуренные глаза Вадика смотрели на меня в упор. Я нагнулся, тихонько ударил по ближней монете, перевернул её и подвинул вторую. «Хлюзда на правду наведёт, — решил я. — Всё равно я их сейчас все заберу». Снова наставил шайбу для удара, но опустить уже не успел: кто-то вдруг сильно поддал мне сзади коленом, и я неловко, склонённой вниз головой, ткнулся в землю. Вокруг засмеялись.

За мной, ожидающе улыбаясь, стоял Птаха. Я опешил:

— Чего-о ты?!

— Кто тебе сказал, что это я? — отпёрся он. — Приснилось, что ли?

— Давай сюда! — Вадик протянул руку за шайбой, но я не отдал её.

Обида перехлестнула во мне страх, ничего на свете я больше не боялся. За что? За что они так со мной? Что я им сделал?

— Давай сюда! — потребовал Вадик.

— Ты перевернул ту монетку! — крикнул я

ему. — Я видел, что перевернул. Видел.

— Ну-ка, повтори, — надвигаясь на меня, попросил он.

— Ты перевернул её, — уже тише сказал я, хорошо зная, что за этим последует.

Первым, опять сзади, меня ударил Птаха. Я полетел на Вадика, он быстро и ловко, не примериваясь, поддел меня головой в лицо, и я упал, из носу у меня брызнула кровь. Едва я вскочил, на меня снова набросился Птаха. Можно было ещё вырваться и убежать, но я почему-то не подумал об этом. Я вертелся меж Вадиком и Птахой, почти не защищаясь, зажимая ладонью нос, из которого хлестала кровь, и в отчаянии, добавляя им ярости, упрямо выкрикивал одно и то же:

— Перевернул! Перевернул! Перевернул!

Они били меня по очереди, один и второй, один и второй. Кто-то третий, маленький и злобный, пинал меня по ногам, потом они почти сплошь покрылись синяками. Я старался только не упасть, ни за что больше не упасть, даже в те минуты мне казалось это позором. Но в конце концов они повалили меня на землю и остановились.

— Иди отсюда, пока живой! — скомандовал Вадик. — Быстро!

Я поднялся и, всхлипывая, швыркая омертвев-

шим носом, поплёлся в гору.

— Только вякни кому — убьём! — пообещал мне вслед Вадик.



Я не ответил. Всё во мне как-то затвердело и сомкнулось в обиде, у меня не было сил достать из себя слово.

И только поднявшись на гору, я не утерпел и,

словно сдурев, закричал что было мочи — так что слышал, наверное, весь посёлок:

— Переверну-у-ул!

За мной кинулся было Птаха, но сразу вернулся — видно, Вадик рассудил, что с меня хватит, и остановил его. Минут пять я стоял и, всхлипывая, смотрел на полянку, где снова началась игра, затем спустился по другой стороне холма к ложбинке, затянутой вокруг чёрной крапивой, упал на жёсткую сухую траву и, не сдерживаясь больше, горько, навзрыд заплакал.

Не было в тот день и не могло быть во всём белом свете человека несчастнее меня.

* * *

Утром я со страхом смотрел на себя в зеркало: нос вспух и раздулся, под левым глазом синяк, а ниже его, на щеке, изгибается жирная кровавая ссадина. Как идти в школу в таком виде, я не представлял, но как-то идти надо было, пропускать по какой бы то ни было причине уроки я не решался. Допустим, носы у людей и от природы случаются почище моего, и если бы не привычное место, ни за что не догадаешься, что это нос, но ссадину и синяк ничем оправдать нельзя: сразу видно, что они красуются тут не по моей доброй воле.

Прикрывая глаз рукой, я юркнул в класс, сел за свою парту и опустил голову. Первым уроком, как назло, был французский. Лидия Михайловна, по праву классного руководителя, интересовалась нами больше других учителей, и скрыть от неё что-либо было трудно. Она входила, здоровалась, но до того, как посадить класс, имела привычку внимательным образом осматривать почти каждого из нас, делая будто бы и шутливые, но обязательные для исполнения замечания. И знаки на моём лице она, конечно, увидела сразу, хоть я, как мог, и прятал их; я понял это потому, что на меня стали оборачиваться ребята.

— Ну вот, — сказала Лидия Михайловна, открывая журнал. — Сегодня среди нас есть раненые.

Класс засмеялся, а Лидия Михайловна снова подняла на меня глаза. Они у неё косили и смотрели словно бы мимо, но мы к тому времени уже научились распознавать, куда они смотрят.

— И что случилось? — спросила она.

— Упал, — брякнул я, почему-то не догадавшись заранее придумать хоть мало-мальски приличное объяснение.

— Ой, как неудачно. Вчера упал или сегодня?

— Сегодня. Нет, вчера вечером, когда темно было.

— Хи, упал! — выкрикнул Тишкин, захлёбываясь от радости. — Это ему Вадик из седьмого класса поднёс. Они на деньги играли, а он стал спорить и заработал. Я же видел. А говорит, упал.

Я остолбенел от такого предательства. Он что — совсем ничего не понимает или это он нарочно? За игру на деньги у нас в два счёта могли выгнать из школы. Доигрался. В голове у меня от страха всё всполошилось и загудело: пропал, теперь пропал. Ну, Тишкин. Вот Тишкин так Тишкин. Обрадовал. Внёс ясность — нечего сказать.

— Тебя, Тишкин, я хотела спросить совсем другое, — не удивляясь и не меняя спокойного, чуть безразличного тона, остановила его Лидия Михайловна. — Иди к доске, раз уж ты разговорился, и приготовься отвечать. — Она подождала, пока растерявшийся, ставший сразу несчастным Тишкин выйдет к доске, и коротко сказала мне: — После уроков останешься.

Больше всего я боялся, что Лидия Михайловна потащит меня к директору. Это значит, что, кроме сегодняшней беседы, завтра меня выведут перед школьной линейкой и заставят рассказывать, что меня побудило заниматься этим грязным делом. Директор, Василий Андреевич, так и спра-

шивал провинившегося, что бы он ни натворил — разбил окно, подрался или курил в уборной: «Что тебя побудило заниматься этим грязным делом?» Он расхаживал перед линейкой, закинув руки за спину, вынося вперёд в такт широким шагам плечи, так что казалось, будто наглухо застёгнутый, оттопыривающийся тёмный френч двигается самостоятельно чуть поперёд директора, и подгонял: «Отвечай, отвечай. Мы ждём. Посмотри, вся школа ждёт, что ты нам скажешь». Ученик начинал в своё оправдание что-нибудь бормотать, но директор обрывал его: «Ты мне на вопрос отвечай, на вопрос. Как был задан вопрос?» — «Что меня побудило?» — «Вот именно: что побудило? Слушаем тебя».

Дело обычно заканчивалось слезами, лишь после этого директор успокаивался, и мы расходились на занятия. Труднее было со старшеклассниками, которые не хотели плакать, но и не могли ответить на вопрос Василия Андреевича.

Однажды первый урок у нас начался с опозданием на десять минут, и всё это время директор допрашивал одного девятиклассника, но, так и не добившись от него ничего вразумительного, увёл к себе в кабинет.

А что, интересно, скажу я? Лучше бы сразу вы-

гоняли. Я мельком, чуть коснувшись этой мысли, подумал, что тогда я смогу вернуться домой, и тут же, словно обжёгшись, испугался: нет, с таким позором и домой нельзя. Другое дело — если бы я сам бросил школу… Но и тогда про меня можно сказать, что я человек ненадёжный, раз не выдержал того, что хотел, а тут и вовсе меня станет чураться каждый. Нет, только не так. Я бы ещё потерпел здесь, я бы привык, но так домой ехать нельзя.

После уроков, замирая от страха, я ждал Лидию Михайловну в коридоре. Она вышла из учительской и, кивнув, завела меня в класс. Как всегда, она села за стол, я хотел устроиться за третьей партой, подальше от неё, но Лидия Михайловна показала мне на первую, прямо перед собой.

— Это правда, что ты играешь на деньги? — сразу начала она.

Она спросила слишком громко, мне казалось, что в школе об этом нужно говорить только шёпотом, и я испугался ещё больше. Но запираться никакого смысла не было. Тишкин успел продать меня с потрохами. Я промямлил:

— Правда.

— Ну и как — выигрываешь или проигрываешь?

Я замялся, не зная, что лучше.

— Давай рассказывай как есть. Проигрываешь, наверное?

— Вы… выигрываю.

— Хорошо хоть так. Выигрываешь, значит. И что ты делаешь с деньгами?



В первое время в школе я долго не мог привыкнуть к голосу Лидии Михайловны, он сбивал меня с толку. У нас в деревне говорили, запахивая голос глубоко в нутро, и потому звучал он вволюшку, а

у Лидии Михайловны он был каким-то мелким и лёгким, так что в него приходилось вслушиваться, и не от бессилия вовсе — она иногда могла сказать и всласть, а словно бы от притаённости и ненужной экономии. Я готов был свалить всё на французский язык: конечно, пока училась, пока приноравливалась к чужой речи, голос без свободы сел, ослаб, как у птички в клетке, жди теперь, когда он опять разойдётся и окрепнет. Вот и сейчас Лидия Михайловна спрашивала так, будто была в это время занята чем-то другим, более важным, но от вопросов её всё равно было не уйти.

— Ну, так что ты делаешь с деньгами, которые выигрываешь? Покупаешь конфеты? Или книги? Или копишь на что-нибудь? Ведь у тебя их, наверное, теперь много?

— Нет, не много. Я только рубль выигрываю.

— И больше не играешь?

— Нет.

— А рубль? Почему рубль? Что ты с ним делаешь?

— Покупаю молоко.

— Молоко?

Она сидела передо мной аккуратная вся, умная и красивая, красивая и в одежде, и в своей жен-

ской молодой поре, которую я смутно чувствовал, до меня доходил запах духов от неё, который я принимал за самоё дыхание; к тому же она была учительницей не арифметики какой-нибудь, не истории, а загадочного французского языка, от которого тоже исходило что-то особое, сказочное, неподвластное любому-каждому, как, например, мне. Не смея поднять глаза на неё, я не посмел и обмануть её. Да и зачем, в конце концов, мне было обманывать?

Она помолчала, рассматривая меня, и я кожей почувствовал, как при взгляде её косящих внимательных глаз все мои беды и несуразности прямо-таки взбухают и наливаются своей дурной силой. Посмотреть, конечно, было на что: перед ней крючился на парте тощий диковатый мальчишка с разбитым лицом, неопрятный без матери и одинокий, в старом, застиранном пиджачишке на обвислых плечах, который впору был на груди, но из которого далеко вылезали руки; в перешитых из отцовских галифе и заправленных в чирки марких светло-зелёных штанах со следами вчерашней драки. Я ещё раньше заметил, с каким любопытством поглядывает Лидия Михайловна на мою обувку. Из всего класса в чирках ходил только я. Лишь на следующую осень,

когда я наотрез отказался ехать в них в школу, мать продала швейную машину, единственную нашу ценность, и купила мне кирзовые сапоги.

— И всё-таки на деньги играть не надо, — задумчиво сказала Лидия Михайловна. — Обошёлся бы ты как-нибудь без этого. Можно обойтись?

Не смея поверить в своё спасение, я легко пообещал:

— Можно.

Я говорил искренне, но что поделаешь, если искренность нашу нельзя привязать верёвками.



Справедливости ради надо сказать, что в те дни мне пришлось совсем плохо. Колхоз наш по сухой осени рано рассчитался с хлебосдачей, и дядя Ваня больше не приезжал. Я знал, что дома мать места себе не находит, переживая за меня, но мне от этого было не легче. Мешок картошки, привезённый в последний раз дядей Ваней, испарился так быстро, будто ею кормили по крайней мере скот. Хорошо ещё, что, спохватившись, я догадался немножко припрятать в стоящей во дворе заброшенной сараюшке и вот теперь только этой притайкой и жил. После школы, крадучись как вор, я шмыгал в сараюшку, совал несколько картофелин в карман и убегал за улицу, в холмы, чтобы где-нибудь в удобной и скрытой низинке развести огонь. Мне всё время хотелось есть, даже во сне я чувствовал, как по моему желудку прокатываются судорожные волны.



В надежде наткнуться на новую компанию игроков я стал потихоньку обследовать соседние улицы, бродил по пустырям, следил за ребятами, которых заносило в холмы. Всё было напрасно, сезон кончился, подули холодные октябрьские ветры. И только на нашей полянке по-прежнему продолжали собираться ребята. Я кружил неподалёку, видел, как взблёскивает на солнце шайба, как, размахивая руками, командует Вадик

и склоняются над кассой знакомые фигуры.

В конце концов я не выдержал и спустился к ним. Я знал, что иду на унижение, но не меньшим унижением было раз и навсегда смириться с тем, что меня избили и выгнали. Меня зудило посмотреть, как отнесутся к моему появлению Вадик и Птаха и как смогу держать себя я. Но больше всего подгонял голод. Мне нужен был рубль — уже не на молоко, а на хлеб. Других путей раздобыть его я не знал.

Я подошёл, и игра сама собой приостановилась, все уставились на меня. Птаха был в шапке с подвёрнутыми ушами, сидящей, как и всё на нём, беззаботно и смело, в клетчатой навыпуск рубахе с короткими рукавами; Вадик форсил в красивой толстой куртке с замком. Рядом, сваленные в одну кучу, лежали фуфайки и пальтишки, на них, сжавшись под ветром, сидел маленький, лет пяти-шести, мальчишка.

Первым встретил меня Птаха:

— Чего пришёл? Давно не били?

— Играть пришёл, — как можно спокойней ответил я, глядя на Вадика.

— Кто тебе сказал, что с тобой, — Птаха выругался, — будут тут играть?

— Никто.

— Что, Вадик, сразу будем бить или подождём немного?

— Чего ты пристал к человеку, Птаха? — щурясь на меня, сказал Вадик. — Понял, человек играть пришёл. Может, он у нас с тобой по десять рублей хочет выиграть?

— У вас нет по десять рублей, — только чтобы не казаться себе трусом, сказал я.

— У нас есть больше, чем тебе снилось. Ставь, не разговаривай, пока Птаха не рассердился. А то он человек горячий.

— Дать ему, Вадик?

— Не надо, пусть играет. — Вадик подмигнул ребятам. — Он здорово играет, мы ему в подмётки не годимся.

Теперь я был учёный и понимал, что это такое — доброта Вадика. Ему, видно, надоела скучная, неинтересная игра, поэтому, чтобы пощекотать себе нервы и почувствовать вкус настоящей игры, он и решил допустить в неё меня.

Но, как только я затрону его самолюбие, мне опять не поздоровится. Он найдёт к чему придраться, рядом с ним Птаха.





Я решил играть осторожно и не зариться на кассу. Как и все, чтобы не выделяться, я катал шайбу, боясь ненароком угодить в деньги, потом тихонько тюкал по монетам и оглядывался, не зашёл ли сзади Птаха. В первые дни я не позволял себе мечтать о рубле; копеек двадцать-тридцать, на кусок хлеба, и то хорошо, и то давай сюда.

Но то, что должно было рано или поздно случиться, разумеется, случилось. На четвёртый

день, когда, выиграв рубль, я собрался уйти, меня снова избили. Правда, на этот раз обошлось легче, но один след остался: у меня сильно вздулась губа. В школе приходилось её постоянно прикусывать. Но, как ни прятал я её, как ни прикусывал, а Лидия Михайловна разглядела. Она нарочно вызвала меня к доске и заставила читать французский текст. Я его с десятью здоровыми губами не смог бы правильно произнести, а об одной и говорить нечего.

— Хватит, ой, хватит! — испугалась Лидия Михайловна и замахала на меня, как на нечистую силу, руками. — Да что же это такое?! Нет, придётся с тобой заниматься отдельно. Другого выхода нет.

* * *

Так начались для меня мучительные и неловкие дни. С самого утра я со страхом ждал того часа, когда мне придётся остаться наедине с Лидией Михайловной и, ломая язык, повторять вслед за ней неудобные для произношения, придуманные только для наказания слова. Ну, зачем ещё, как не для издевательства, три гласные сливать в один толстый тягучий звук, то же «о», например, в слове «веаисоир» (много), которым можно по-

давиться? Зачем с каким-то пристоном пускать звуки через нос, когда испокон веков он служил человеку совсем для другой надобности? Зачем? Должны же существовать границы разумного. Я покрывался потом, краснел и задыхался, а Лидия Михайловна без передышки и без жалости заставляла меня мозолить бедный мой язык. И почему меня одного? В школе сколько угодно было ребят, которые говорили по-французски ничуть не лучше, чем я, однако они гуляли на свободе, делали что хотели, а я, как проклятый, отдувался один за всех.

Оказалось, что и это ещё не самое страшное. Лидия Михайловна вдруг решила, что времени в школе у нас до второй смены остаётся в обрез, и сказала, чтобы я по вечерам приходил к ней на квартиру. Жила она рядом со школой, в учительских домах. На другой, большей половине дома Лидии Михайловны жил сам директор.

Я шёл туда как на пытку. И без того от природы робкий и стеснительный, теряющийся от любого пустяка, в этой чистенькой, аккуратной квартире учительницы я в первое время буквально каменел и боялся дышать. Мне надо было говорить, чтобы я раздевался, проходил в комнату, садился — меня приходилось передвигать, словно вещь,

и чуть ли не силой добывать из меня слова. Моим успехам во французском это никак не способствовало. Но, странное дело, мы и занимались здесь меньше, чем в школе, где нам будто бы мешала вторая смена. Больше того, Лидия Михайловна, хлопоча что-нибудь по квартире, расспрашивала меня или рассказывала о себе. Подозреваю, это она нарочно для меня придумала, будто пошла на французский факультет потому лишь, что в школе этот язык ей тоже не давался и она решила доказать себе, что может овладеть им не хуже других.

Забившись в угол, я слушал, не чая дождаться, когда меня отпустят домой. В комнате было много книг, на тумбочке у окна стоял большой красивый радиоприемник с проигрывателем — редкое по тем временам, а для меня и вовсе невиданное чудо. Лидия Михайловна ставила пластинки, и ловкий мужской голос опять-таки учил французскому языку. Так или иначе от него никуда было не деться. Лидия Михайловна в простом домашнем платье, в мягких войлочных туфлях ходила по комнате, заставляя меня вздрагивать и замирать, когда она приближалась ко мне. Я никак не мог поверить, что сижу у неё в доме, всё здесь было для меня слишком неожиданным

и необыкновенным, даже воздух, пропитанный лёгкими и незнакомыми запахами иной, чем я знал, жизни. Невольно создавалось ощущение, словно я подглядываю эту жизнь со стороны, и от стыда и неловкости за себя я ещё глубже запахивался в свой кургузый пиджачишко.

Лидии Михайловне тогда было, наверное, лет двадцать пять или около того; я хорошо помню её правильное и потому не слишком живое лицо с прищуренными, чтобы скрыть в них косинку, глазами; тугую, редко раскрывающуюся до конца улыбку и совсем чёрные, коротко остриженные волосы. Но при всём этом не было видно в её лице жёсткости, которая, как я позже заметил, становится с годами чуть ли не профессиональным признаком учителей, даже самых добрых и мягких по натуре, а было какое-то осторожное, с хитринкой, недоумение, относящееся к ней самой и словно говорившее: интересно, как я здесь очутилась и что я здесь делаю? Теперь я думаю, что она к тому времени успела побывать замужем: по голосу, по походке — мягкой, но уверенной, свободной, по всему её поведению в ней чувствовались смелость и опытность. А кроме того, я всегда придерживался мнения, что девушки, изучающие французский или ис-

панский язык, становятся женщинами раньше своих сверстниц, которые занимаются, скажем, русским или немецким.

Стыдно сейчас вспомнить, как я пугался и терялся, когда Лидия Михайловна, закончив наш урок, звала меня ужинать. Будь я тысячу раз голоден, из меня пулей тут же выскакивал всякий аппетит. Садиться за один стол с Лидией Михайловной! Нет, нет! Лучше я к завтрашнему дню наизусть выучу весь французский язык, чтобы никогда больше сюда не приходить. Кусок хлеба, наверное, и вправду застрял бы у меня в горле. Кажется, до того я не подозревал, что и Лидия Михайловна тоже, как все мы, питается самой обыкновенной едой, а не какой-нибудь манной небесной, — настолько она представлялась мне человеком необыкновенным, непохожим на всех остальных.

Я вскакивал и, бормоча, что сыт, что не хочу, пятился вдоль стенки к выходу. Лидия Михайловна смотрела на меня с удивлением и обидой, но остановить меня никакими силами было невозможно. Я убегал. Так повторялось несколько раз, затем Лидия Михайловна, отчаявшись, перестала приглашать меня за стол. Я вздохнул свободней.

Однажды мне сказали, что внизу, в раздевалке,

для меня лежит посылка, которую занёс в школу какой-то мужик. Дядя Ваня, конечно, наш шофёр, — какой ещё мужик! Наверное, дом у нас был закрыт, а ждать меня с уроков дядя Ваня не мог — вот и оставил в раздевалке. Я с трудом дотерпел до конца занятий и кинулся вниз. Тётя Вера, школьная уборщица, показала мне на стоящий в углу белый фанерный ящичек, в каких снаряжают посылки по почте. Я удивился: почему в ящичке? — мать обычно отправляла еду в обыкновенном мешке. Может быть, это и не мне вовсе? Нет, на крышке были выведены мой класс и моя фамилия. Видно, надписал уже здесь дядя Ваня — чтобы не перепутали, для кого. Что это мать выдумала заколачивать продукты в ящик?! Глядите, какой интеллигентной стала!

Нести посылку домой, не узнав, что в ней, я не мог: не то терпение. Ясно, что там не картошка. Для хлеба тара тоже, пожалуй, маловата, да и неудобна. К тому же хлеб мне отправляли недавно, он у меня ещё был. Тогда что там? Тут же, в школе, я забрался под лестницу, где, помнил, лежит топор, и, отыскав его, оторвал крышку. Под лестницей было темно, я вылез обратно и, воровато озираясь, поставил ящик на ближний подоконник.

Заглянув в посылку, я обомлел: сверху, прикрытые аккуратно большим белым листом бумаги, лежали макароны. Вот это да! Длинные жёлтые трубочки, уложенные одна к другой ровными рядами, вспыхнули на свету таким богатством, дороже которого для меня ничего не существовало. Теперь понятно, почему мать собрала ящик: чтобы макароны не поломались, не покрошились, прибыли ко мне в целости и сохранности. Я осторожно вынул одну трубочку, глянул, дунул в неё и, не в состоянии больше сдерживаться, стал жадно хрумкать. Потом таким же образом взялся за вторую, за третью, размышляя, куда бы мне спрятать ящик, чтобы макароны не достались чересчур прожорливым мышам в кладовке моей хозяйки. Не для того мать их покупала, тратила последние деньги. Нет, макаронами я так просто не попущусь. Это вам не какая-нибудь картошка.

И вдруг я поперхнулся. Макароны… Действительно, где мать взяла макароны? Сроду их у нас в деревне не бывало, ни за какие шиши их там купить нельзя. Это что же тогда получается? Торопливо, в отчаянии и надежде, я разгрёб макароны и нашёл на дне ящичка несколько больших кусков сахару и две плитки гематогена. Гематоген подтвердил: посылку отправляла не

мать. Кто же в таком случае, кто? Я ещё раз взглянул на крышку: мой класс, моя фамилия — мне. Интересно, очень интересно.

Я втиснул гвозди крышки на место и, оставив ящик на подоконнике, поднялся на второй этаж и постучал в учительскую. Лидия Михайловна уже ушла. Ничего, найдём, знаем, где живёт, бывали. Значит, вот как: не хочешь садиться за стол — получай продукты на дом. Значит, так. Не выйдет. Больше некому. Это не мать: она бы и записку не забыла вложить, рассказала бы, откуда, с каких приисков взялось такое богатство.

Когда я бочком влез с посылкой в дверь, Лидия Михайловна приняла вид, что ничего не понимает. Она смотрела на ящик, который я поставил перед ней на пол, и удивлённо спрашивала:

— Что это? Что такое ты принёс? Зачем?

— Это вы сделали, — сказал я дрожащим, срывающимся голосом.

— Что я сделала? О чём ты?

— Вы отправили в школу эту посылку. Я знаю, вы.

Я заметил, что Лидия Михайловна покраснела и смутилась. Это был тот единственный, очевидно, случай, когда я не боялся смотреть ей прямо в глаза. Мне было наплевать, учительница она или

моя троюродная тётка. Тут спрашивал я, а не она, и спрашивал не на французском, а на русском языке, без всяких артиклей. Пусть отвечает.

— Почему ты решил, что это я?

— Потому что у нас там не бывает никаких макарон. И гематогену не бывает.

— Как! Совсем не бывает?! — Она изумилась так искренне, что выдала себя с головой.

— Совсем не бывает. Знать надо было.

Лидия Михайловна вдруг засмеялась и попыталась меня обнять, но я отстранился от неё.

— Действительно, надо было знать. Как же это я так?! — Она на минутку задумалась. — Но тут и догадаться трудно было — честное слово! Я же городской человек. Совсем, говоришь, не бывает? Что же у вас тогда бывает?

— Горох бывает. Редька бывает.

— Горох… редька… А у нас на Кубани яблоки бывают. Ох, сколько сейчас там яблок. Я нынче хотела поехать на Кубань, а приехала почему-то сюда. — Лидия Михайловна вздохнула и покосилась на меня. — Не злись. Я же хотела как лучше. Кто знал, что можно попасться на макаронах? Ничего, теперь буду умнее. А макароны эти ты возьми…

— Не возьму, — перебил я её.

— Ну зачем ты так? Я знаю, что ты голодаешь. А я живу одна, денег у меня много. Я могу покупать что захочу, но ведь мне одной… Я и ем-то помаленьку, боюсь потолстеть.

— Я совсем не голодаю.

— Не спорь, пожалуйста, со мной, я знаю. Я говорила с твоей хозяйкой. Что плохого, если ты возьмёшь сейчас эти макароны и сваришь себе сегодня хороший обед? Почему я не могу тебе помочь — единственный раз в жизни? Обещаю больше никаких посылок не подсовывать. Но эту, пожалуйста, возьми. Тебе надо обязательно есть досыта, чтобы учиться. Сколько у нас в школе сытых лоботрясов, которые ни в чём ничего не соображают и никогда, наверное, не будут соображать, а ты способный мальчишка, школу тебе бросать нельзя.

Её голос начинал на меня действовать усыпляюще; я боялся, что она меня уговорит, и, сердясь на себя за то, что понимаю правоту Лидии Михайловны, и за то, что собираюсь её всё-таки не понять, я, мотая головой и бормоча что-то, выскочил за дверь.



* * *

Уроки наши на этом не прекратились, я продолжал ходить к Лидии Михайловне. Но теперь она взялась за меня по-настоящему. Она, видимо, решила: ну что ж, французский так французский. Правда, толк от этого выходил, постепенно я стал довольно сносно выговаривать французские слова, они уже не обрывались у моих ног тяжёлыми булыжниками, а, позванивая, пытались куда-то лететь.

— Хорошо, — подбадривала меня Лидия Михайловна. — В этой четверти пятёрка ещё не получится, а в следующей — обязательно.

О посылке мы не вспоминали, но я на всякий случай держался настороже. Мало ли что Лидия Михайловна возьмётся ещё придумать? Я по себе знал: когда что-то не выходит, всё сделаешь для того, чтобы вышло, так просто не отступишься. Мне казалось, что Лидия Михайловна всё время ожидающе присматривается ко мне, а присматриваясь, посмеивается над моей диковатостью, — я злился, но злость эта, как ни странно, помогала мне держаться уверенней. Я уже был не тот безответный и беспомощный мальчишка, который боялся ступить здесь шагу, помаленьку я привыкал к Лидии Михайловне и к её квартире. Всё ещё, конечно, стеснялся, забивался в угол, пряча свои чирки под стул, но прежние скованность и угнетённость отступали, теперь я сам осмеливался задавать Лидии Михайловне вопросы и даже вступать с ней в споры.

Она сделала ещё попытку посадить меня за стол — напрасно. Тут я был непреклонен, упрямства во мне хватало на десятерых.

Наверное, уже можно было прекратить эти занятия на дому, самое главное я усвоил, язык

мой отмяк и зашевелился, остальное со временем добавилось бы на школьных уроках. Впереди годы да годы. Что я потом стану делать, если от начала до конца выучу всё одним разом?

Но я не решался сказать об этом Лидии Михайловне, а она, видимо, вовсе не считала нашу программу выполненной, и я продолжал тянуть свою французскую лямку. Впрочем, лямку ли? Как-то невольно и незаметно, сам того не ожидая, я почувствовал вкус к языку и в свободные минуты без всякого понукания лез в словарик, заглядывал в дальние в учебнике тексты. Наказание превращалось в удовольствие. Меня ещё подстёгивало самолюбие: не получалось — получится, и получится — не хуже, чем у самых лучших. Из другого я теста, что ли? Если бы ещё не надо было ходить к Лидии Михайловне… Я бы сам, сам…

Однажды, недели через две после истории с посылкой, Лидия Михайловна, улыбаясь, спросила:

— Ну а на деньги ты больше не играешь? Или где-нибудь собираетесь в сторонке да поигрываете?

— Как же сейчас играть?! — удивился я, показывая взглядом за окно, где лежал снег.

— А что это была за игра? В чём она заключа-

ется?

— Зачем вам? — насторожился я.

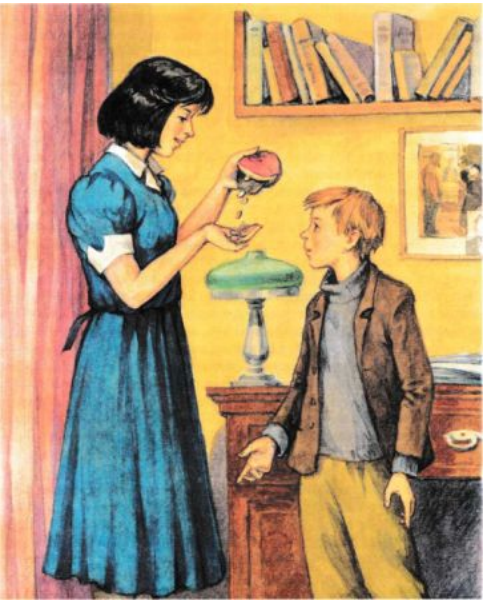
— Интересно. Мы в детстве когда-то тоже играли. Вот и хочу знать, та это игра или нет. Расскажи, расскажи, не бойся.

Я рассказал, умолчав, конечно, про Вадика, про Птаху и о своих маленьких хитростях, которыми я пользовался в игре.

— Нет. — Лидия Михайловна покачала головой. — Мы играли в «пристенок». Знаешь, что это такое?

— Нет.

— Вот смотри. — Она легко выскочила из-за стола, за которым сидела, отыскала в сумочке монетки и отодвинула от стены стул. — Иди сюда, смотри. Я бью монетой о стену. — Лидия Михайловна легонько ударила, и монета, зазвенев, дугой отлетела на пол. — Теперь, — Лидия Михайловна сунула мне вторую монету в руку, — бьёшь ты. Но имей в виду: бить надо так, чтобы твоя монета оказалась как можно ближе к моей. Чтобы их можно было замерить, достать пальцами одной руки. По-другому игра называется «замеряшки». Достанешь — значит, выиграл. Бей.



Я ударил — моя монета, попав на ребро, покатилась в угол.

— О-о, — махнула рукой Лидия Михайловна. — Далеко. Сейчас ты начинаешь. Учти: если моя монета заденет твою, хоть чуточку, краешком, — я выигрываю вдвойне. Понимаешь?

— Чего тут непонятного?

— Сыграем?

Я не поверил своим ушам:

— Как же я с вами буду играть?

— А что такое?

— Вы же учительница!

— Ну и что? Учительница — так другой человек, что ли? Иногда надоедает быть только учительницей, учить и учить без конца. Постоянно одёргивать себя: то нельзя, это нельзя. — Лидия Михайловна больше обычного прищурила глаза и задумчиво, отстранённо смотрела в окно. — Иной раз полезно забыть, что ты учительница, — не то такой сделаешься бякой и букой, что живым людям скучно с тобой станет. Для учителя, может быть, самое важное — не принимать себя всерьёз, понимать, что он может научить совсем немногому. — Она встряхнулась и сразу повеселела. — А я в детстве была отчаянной девчонкой, родители со мной натерпелись. Мне и теперь ещё часто хочется прыгать, скакать, куда-нибудь мчаться, что-нибудь делать не по программе, не по расписанию, а по желанию. Я тут, бывает, прыгаю, скачу. Человек стареет не тогда, когда он доживает до старости, а когда перестаёт быть ребёнком. Я бы с удовольствием каждый день прыгала, да за стенкой живёт Василий Андреевич. Он очень серьёзный человек. Ни в коем случае нельзя, чтобы он узнал, что мы

играем в «замеряшки».

— Но мы не играем ни в какие «замеряшки». Вы только мне показали.

— Мы можем сыграть так просто, как говорят, понарошку. Но ты всё равно не выдавай меня Василию Андреевичу.

Господи, что творится на белом свете! Давно ли я до смерти боялся, что Лидия Михайловна за игру на деньги потащит меня к директору, а теперь она просит, чтобы я не выдавал её. Светопреставление — не иначе. Я озирался, неизвестно чего пугаясь, и растерянно хлопал глазами.

— Ну что — попробуем? Не понравится — бросим.

— Давайте, — нерешительно согласился я.

— Начинай.

Мы взялись за монеты. Видно было, что Лидия Михайловна когда-то действительно играла, а я только-только примеривался к игре, я ещё не выяснил для себя, как бить монетой о стену — ребром ли или плашмя, на какой высоте и с какой силой когда лучше бросать. Мои удары шли вслепую; если бы вели счёт, я бы на первых же минутах проиграл довольно много, хотя ничего хитрого в этих «замеряшках» не было. Больше всего меня, разумеется, стесняло и угнетало, не

давало мне освоиться то, что я играю с Лидией Михайловной. Ни в одном сне не могло такое присниться, ни в одной дурной мысли подуматься. Я опомнился не сразу и не легко, а когда опомнился и стал понемножку присматриваться к игре, Лидия Михайловна взяла и остановила её.

— Нет, так неинтересно, — сказала она, выпрямляясь и убирая съехавшие на глаза волосы. — Играть — так по-настоящему, а то что мы с тобой как трёхлетние малыши.

— Но тогда это будет игра на деньги, — несмело напомнил я.

— Конечно. А что мы с тобой в руках держим? Игру на деньги ничем другим подменить нельзя. Этим она хороша и плоха одновременно. Мы можем договориться о совсем маленькой ставке, а всё равно появится интерес.

Я молчал, не зная, что делать и как быть.

— Неужели боишься? — подзадорила меня Лидия Михайловна.

— Вот ещё! Ничего я не боюсь.

У меня была с собой кой-какая мелочишка. Я отдал монету Лидии Михайловне и достал из кармана свою. Что ж, давайте играть по-настоящему, Лидия Михайловна, если хотите. Мне-то что — не я первый начал. Вадик по первости на меня

тоже ноль внимания, а потом опомнился, полез с кулаками. Научился там, научусь и здесь. Это не французский язык, а я и французский скоро к зубам приберу.

Мне пришлось принять одно условие: поскольку рука у Лидии Михайловны больше и пальцы длиннее, она станет замерять большим и средним пальцами, а я, как и положено, большим и мизинцем. Это было справедливо, и я согласился.

Игра началась заново. Мы перебрались из комнаты в прихожую, где было свободнее, и били о ровную дощатую заборку. Били, опускались на колени, ползали по полу, задевая друг друга, растягивали пальцы, замеряя монеты, затем опять поднимались на ноги, и Лидия Михайловна объявляла счёт. Играла она шумно: вскрикивала, хлопала в ладоши, поддразнивала меня — одним словом, вела себя как обыкновенная девчонка, а не учительница, мне даже хотелось порой на неё прикрикнуть. Но выигрывала тем не менее она, а я проигрывал. Я не успел опомниться, как на меня набежало восемьдесят копеек, с большим трудом мне удалось скостить этот долг до тридцати, но Лидия Михайловна издали попала своей монетой на мою, и счёт сразу подскочил до пятидесяти. Я начал волноваться. Мы договорились

расплачиваться по окончании игры, но, если дело и дальше так пойдёт, моих денег уже очень скоро не хватит, их у меня чуть больше рубля. Значит, за рубль переваливать нельзя — не то позор, позор и стыд на всю жизнь.

И тут я неожиданно заметил, что Лидия Михайловна и не старается вовсе у меня выигрывать. При замерах её пальцы горбились, не выстилаясь во всю длину, — там, где она якобы не могла дотянуться до монеты, я дотягивался без всякой натуги. Это меня обидело, и я поднялся.

— Нет, — заявил я, — так я не играю. Зачем вы мне подыгрываете? Это нечестно.

— Но я действительно не могу их достать, — стала отказываться она. — У меня пальцы какие-то деревянные.

— Можете.

— Хорошо, хорошо, я буду стараться.

Не знаю, как в математике, а в жизни самое лучшее доказательство — от противного. Когда на следующий день я увидел, что Лидия Михайловна, чтобы коснуться монеты, исподтишка подталкивает её к пальцу, я обомлел. Взглядывая на меня и почему-то не замечая, что я прекрасно вижу её чистой воды мошенничество, она как ни в чём не бывало продолжала двигать монету.

— Что вы делаете? — возмутился я.

— Я? А что я делаю?

— Зачем вы её подвинули?

— Да нет же, она тут и лежала, — самым бессовестным образом, с какой-то даже радостью отпёрлась Лидия Михайловна ничуть не хуже Вадика или Птахи.

Вот это да! Учительница, называется! Я своими собственными глазами на расстоянии двадцати сантиметров видел, что она трогала монету, а она уверяет меня, что не трогала, да ещё и смеётся надо мной. За слепого, что ли, она меня принимает? За маленького? Французский язык преподаёт, называется. Я тут же напрочь забыл, что всего вчера Лидия Михайловна пыталась подыграть мне, и следил только за тем, чтобы она меня не обманула. Ну и ну! Лидия Михайловна, называется.

В этот день мы занимались французским минут пятнадцать-двадцать, а затем и того меньше. У нас появился другой интерес. Лидия Михайловна заставляла меня прочесть отрывок, делала замечания, по замечаниям выслушивала ещё раз, и мы не мешкая переходили к игре. После двух небольших проигрышей я стал выигрывать. Я быстро приловчился к «замеряшкам», разобрался во всех секретах, знал, как и куда бить, что делать

в роли разыгрывающего, чтобы не подставить свою монету под замер.

И опять у меня появились деньги. Опять я бегал на базар и покупал молоко — теперь уже в мороженых кружка́х. Я осторожно срезал с кружка наплыв сливок, совал рассыпающиеся ледяные ломтики в рот и, ощущая во всём теле их сытую сладость, закрывал от удовольствия глаза. Затем переворачивал кружок вверх дном и долбил ножом сладковатый молочный отстой. Остаткам позволял растаять и выпивал их, заедая куском чёрного хлеба.

Ничего, жить можно было, а в скором будущем, как залечим раны войны, для всех обещали счастливое время.

Конечно, принимая деньги от Лидии Михайловны, я чувствовал себя неловко, но всякий раз успокаивался тем, что это честный выигрыш. Я никогда не напрашивался на игру, Лидия Михайловна предлагала её сама. Отказываться я не смел. Мне казалось, что игра доставляет ей удовольствие, она веселела, смеялась, тормошила меня. Знать бы нам, чем это всё кончится…



...Стоя друг против друга на коленях, мы заспорили о счёте. Перед тем тоже, кажется, о чём-то спорили.

— Пойми ты, голова садовая, — наползая на меня и размахивая руками, доказывала Лидия Михайловна, — зачем мне тебя обманывать? Я веду счёт, а не ты, я лучше знаю. Я трижды подряд проиграла, а перед тем была «чика».

— «Чика» не считово.

— Почему это не считово?

Мы кричали, перебивая друг друга, когда до нас донёсся удивлённый, если не сказать, поражённый, но твёрдый, звенящий голос:

— Лидия Михайловна!

Мы замерли. В дверях стоял Василий Андреевич.

— Лидия Михайловна, что с вами? Что здесь происходит?

Лидия Михайловна медленно, очень медленно поднялась с колен, раскрасневшаяся и взлохмаченная, и, пригладив волосы, сказала:

— Я, Василий Андреевич, надеялась, что вы постучите, прежде чем входить сюда.

— Я стучал. Мне никто не ответил. Что здесь происходит? Объясните, пожалуйста. Я имею право знать как директор.

— Играем в «пристенок», — спокойно ответила Лидия Михайловна.

— Вы играете на деньги с этим?.. — Василий Андреевич ткнул в меня пальцем, и я со страху пополз за перегородку, чтобы укрыться в комнате. — Играете с учеником?! Я правильно вас понял?

— Правильно.

— Ну, знаете… — Директор задыхался, ему не хватало воздуха. — Я теряюсь сразу назвать ваш

поступок. Это преступление. Растление. Совращение. И ещё, ещё… Я двадцать лет работаю в школе, видывал всякое, но такое…

И он воздел над головой руки.

* * *

Через три дня Лидия Михайловна уехала. Накануне она встретила меня после школы и проводила до дому.

— Поеду к себе на Кубань, — сказала она, прощаясь. — А ты учись спокойно, никто тебя за этот дурацкий случай не тронет. Тут виновата я. Учись. — Она потрепала меня по голове и ушла.

И больше я её никогда не видел.

Среди зимы, уже после январских каникул, мне пришла на школу по почте посылка. Когда я открыл её, достав опять топор из-под лестницы, — аккуратными, плотными рядами в ней лежали трубочки макарон. А внизу в толстой ватной обёртке я нашёл три красных яблока.

Раньше я видел яблоки только на картинках, но догадался, что это они.

1973 г.



Век живи — век люби
(Рисунки Е. Петровой)



Тому, кто не имеет её, самостоятельность кажется настолько привлекательной и увлекательной штукой, что он отдаст за неё что угодно. Саню буквально поразило это слово, когда он всмотрелся в него. Не вчитался, не вдумался, там и вдумываться особенно не во что, а именно всмотрелся и увидел. «Самостоятельность» — самому стоять на ногах в жизни, без подпорок и подсказок — вот что это значит. Иногда для важного решения не хватает пустяка; так произошло

и на этот раз: как только Саня увидел, что такое самостоятельность, он словно бы встал на своё собственное, ему принадлежащее место, где ему предстояло сделаться самостоятельным, встал так уверенно и удобно, что никаких сомнений не могло быть, его ли это место, и решил: всё, хватит. Хватит ходить по указке, поступать по подсказке, верить сказке… Пятнадцать лет человеку, а для папы с мамой всё ребёнок, и никогда это не кончится, если не заявить раз и навсегда: сам. Сам с усам. Я — это я, это мне принадлежит, в конце концов мне за себя в жизни ответ держать, а не вам. Конечно, он не собирался переходить границы, в этом не было необходимости, но границы собирался пораздвинуть.

И удивительно: стоило Сане принять решение, ему сразу же повезло. Ещё в начале лета папа с мамой никуда не собирались, но, вернувшись из спортивного лагеря, где Саня провёл июнь, он вдруг узнал, что они уезжают. Они летят в Ленинград, там садятся со своими знакомыми в машину, едут в Прибалтику, затем в Калининград, затем в Брест, куда-то ещё и возвращаются только в конце августа, чтобы собрать Саню в школу. «А ты побудешь у бабушки», — сказала мама. Папа вздохнул. Август у бабушки на Байкале — золотой

месяц: ягоды, грибы, рыбалка, купанье, и папа, будь на то его воля, не раздумывая, поменялся бы с Саней местами. Только Саня, разумеется, отказался бы меняться — и не потому, что ему не хотелось побывать в Прибалтике и увидеть Брест, хотелось, и особенно в Брест, но он предпочитал быть там, где нет папы с мамой, которые и в Бресте умудрились бы затолкать его в окоп или в траншею и не позволили бы высовываться, чтобы, не дай бог, не схлопотать выпущенную сорок лет назад пулю. Если у родителей один ребёнок, они, судя по всему, сами впадают в детство, продолжая играть с ним, как с куклой, до тех пор, пока он не откупится собственным родительским вкладом. Сане было неловко за своих родителей и жалко их, когда он видел, что, говоря нормальным и ровным языком с его товарищами, они тут же с ним переходили на язык или неумеренного заискивания, или неумеренной строгости, то и другое делая как бы вслепую, не видя его, а лишь подозревая, что он должен тут быть, говоря не столько для него, сколько для себя, чтобы доказать что-то друг другу. Он так и научился относиться к их словам, когда они были вместе: это не для него, это они для себя. Однако каждый из них в отдельности мог с ним разго-

варивать и серьёзно. Особенно это относилось к папе, и в нём же особенно заметно было, как неловко ему перед сыном за их общий разговор с мамой вместе, но наступал следующий раз, подходило время следующего разговора, и снова всё повторялось сначала. «Как маленькие, честное слово, как маленькие», — в тон им размышлял Саня, досадуя и понимая, что его родители в этом отношении не хуже и не лучше, чем другие, и что человек в слабостях своих на всю жизнь остаётся ребёнком.

На Байкале, куда Саня приехал к бабушке, везение продолжилось. Прошло три дня — и вдруг бабушке приносят телеграмму: срочно выезжай, Вера в больнице, дети одни. Тётя Вера, мамина сестра, жила в городе Нижнеангарске на Северном Байкале, и вот, стало быть, серьёзно заболела, а муж её — геолог, до него в тайге не достучаться. Бабушка заахала, потерялась: и здесь парнишка на её руках, и там неизвестно что. Санины родители в это время гуляли по Ленинграду или катили в Таллин, всё сошлось лучше некуда для Сани, и он заявил: останусь один. Выручила тётя Галя, бабушкина соседка, она согласилась не только кормить бабушкиных поросят, но и доглядывать за её внуком, а на ночь брать его в свою избу.

Бабушка уехала, а тётя Галя и думать забыла про Саню. Про поросят она, правда, помнила, и этого было достаточно.

Саня зажил как кум королю. Он полюбил ходить в магазин, варить себе немудрёную еду, справлять мелкую работу по дому, без которой не обойтись, полюбил даже пропалывать грядки в огороде, чего раньше терпеть не мог, и сделал одно важное открытие: в своей собственной жизни он выдвинулся поперёд всего, что окружало его и с чем он прежде постоянно вынужден был находиться рядом. Ничего, казалось бы, не изменилось, внешне всё оставалось на своих местах и в своём обычном порядке… кроме одного: он получил удивительную способность оглянуться на этот мир и на этот порядок с расстояния, мог войти в него, но мог из него и выйти. Люди только на чужой взгляд остаются в общем ряду, каждый из них в отдельности, на свой взгляд, выходит вперёд, иначе жизнь не имеет смысла. Многое для Сани находилось тут ещё в тумане, но ощущение того, что он вышел вперёд, было отчётливое и радостное, как ощущение высоты, когда открываются дали. Больше всего Саню поражало, что к этому ощущению и к этому открытию он пришёл благодаря такому, казалось бы, пустяку, как взяв-

шаяся в нём откуда-то необходимость возиться с грядками — самой неприятной работы. Это было и не желание, и не понуждение, а что-то иное: поднялся утром, и при мысли, как лучше собрать предстоящий день воедино, едва ли не раньше всего остального приходит на ум напоминание о грядках, которое точь-в-точь сходится с твоей собственной потребностью движения и дела, подобно тому как вспоминаешь о воде лишь тогда, когда появляется жажда.



Ночевать одному в старой избе, в которой по-

стоянно что-то скрипело и вздыхало, поначалу было невесело, но Саня справлялся со страхом своим способом — он читал перед сном «Вечера на хуторе близ Диканьки». Книжка была читаная-перечитаная, истрёпанная до последней степени, что ещё больше заставляло сердце замирать от рассказанных в ней жутких историй, которые в новой книжке можно принять за выдумку, а в старой нет, в старой поневоле поверишь, но после них, после этих историй в книге, вознесённых в своей красоте и жути до самого неба, с подголосками из самой преисподней, сил и страхов на свои заугольные и застенные шорохи уже не оставалось, и Саня засыпал. В его представлении призраки и нечистая сила, которые были там, в книге, почему-то не соединялись с теми, которые могли быть здесь, словно не желая признавать теперешнюю исхудавшую и обесславленную породу за своё будущее; и Саня, откладывая книгу, лишь с жалостью и недоумением думал о всём том, чего он порывался бояться, с жалостью не к себе, а к ним: вот ведь какую имели власть и до чего докатились!.. А потом привык. Привык различать дальние, как стоны, сигналы пароходов в море, шум ветра, который набирается за день и гудит в стенах ночью, тяжкий скрип старых

лиственниц во дворе и глухой могучий гуд от Байкала, который в темноте зовёт и не может дозваться какую-то свою потерю.

Так Саня прожил неделю, потихоньку гордясь собой, своей самостоятельностью и хозяйственностью и беспокоясь лишь о том, чтобы не нагрянула бабушка, от которой не было никаких известий. У бабушки на стене в горнице висел отрывной календарь; Саня снимал с него листочки и складывал их на тумбочке рядом с толстой бабушкиной горкой своим отдельным порядком, видя в этом какой-то неуяснённый, но значительный смысл.

* * *

В пятницу после обеда пришёл Митяй. Он не знал, что Саня живёт один, но видел его за день до того в магазине, поэтому рассчитывал застать здесь Саниного отца. К нему Митяй и шёл за помощью и теперь, растерянный и расстроенный, сидел на табуретке у входной двери и внимательно и невидяще смотрел, как Саня иголкой нанизывает на двойную нитку разрезанные подберёзовики. Он смотрел долго, с усилием морща лицо и переживая, чтобы кусочки грибов на прогнувшейся длинной нитке не задевали о пол,

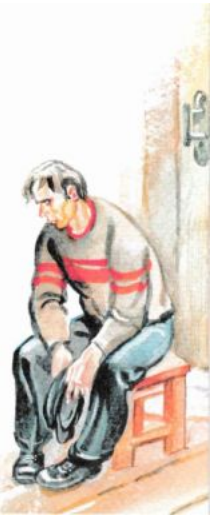
затем спросил:

— Сушишь?

— Сушу.

— Молодец.

Не похвала подействовала на Саню, нет, он знал, что она ничего не стоит и сказана не от сердца, ему просто жалко стало Митяя, вспомнив, как жалел его в таких случаях и заступался за него перед мамой и бабушкой папа, когда Митяй вот так же приходил, садился и ждал.



— Дядя Митяй, вам, наверно, три рубля надо. Я могу дать, у меня есть.

Митяй, всматриваясь в Саню возрождающимся взглядом, пуще прежнего поморщился и ответствовал:

— Ты корову тёткой не зовёшь?

— Зачем?

— То-то и оно… зачем?.. Митяй — кличка, как у быка. Кто ж кличку дядькает? Зови, как все, Митяй, чего там… Не подавлюсь.

— А вообще-то как тебя зовут? — Саня не решился сказать «вас». Но они и вправду знакомы были давно, и «ты» у Сани по-свойски проскакивало и раньше.

— Митяй. Так и зовут. Хошь — спроси у моей мамаши, она умерла сто лет назад.

И это было знакомо Сане, и об этом говорил папа, замечая, что, когда Митяю неловко за себя, его «заносит» в обратную сторону. Как, впрочем, и многих, о чём Саня мог судить по себе. «Он не от обезьяны выродился, а от дьявола, — сурово сказала бабушка, когда Саня попытался однажды объяснить ей теорию происхождения человека. — Ежели бы от обезьяны, он бы помалкивал, не позорил себя. А ему, вишь, чем хужей, тем милей. Это от него, от нечистого».

Саня достал из тумбочки, где у него хранились деньги, три рубля одной бумажкой и подал Митяю. Тот, как-то особенно строго взглянув на Саню, взял и вместо благодарности сказал:

— Дурак твой отец. Ягода пошла, а он укатил. Ягоды нонче — от и до.

Эх, слышал бы это папа, слышал бы… У него и там, в достославных Риге, Калининграде и Бресте, стоном застонала бы душа, просясь обратно, — до того любил он и ждал весь год эту ягодную пору, ухитряясь каждое лето приурочивать свой отпуск именно на неё, на эту пору. Он и нынче угадывал на неё и сколько, поди, старался, сколько волновался и бился, чтоб не раньше и не позже, а вот не пришлось. Слышал бы он это «от и до», означающее на языке Митяя богатство редкое, полное, выпадающее раз в пять, а то и десять лет. Митяй зря говорить не будет, уж что-что, а такое за ним не водится, он, напротив, как все местные жители, боящиеся сглазу, готов скорее преуменьшить, чем преувеличить. Значит, на славу уродила тайга. И бабушка, уезжая, вздыхала: «Люди говорят, сыпом ноне насыпано ягоды, а я и на горку на свою не сбегаю. Плакала моя ягодка».

На ягоде папа с Митяем и сошлись. Уже много лет они ходили вместе, умудряясь даже в неуро-

жайные годы что-нибудь да набрать. Если не бруснику, то голубицу; если не смородину, то жимолость; если не малину, то чернику. Ездили однажды поздней осенью и за облепихой, но ехать надо было далеко, в чужую тайгу, они попали под снег и вернулись ни с чем. Своей же ягоды, из своей тайги, кроме редких, совсем уж пустых лет, обычно бывало вдоволь. Бабушка не успевала варить её и толочь, Саня не успевал бегать в магазин за сахаром. К зиме широкие, в два ряда полки в кладовке у бабушки были сплошь заставлены банками, где на наклеенных бумажках Саниным почерком крупно было написано, где кислица и где малина, где толченье и где варенье. Половина этих банок переправлялась затем в город и съедалась под гостеванье и бытованье, половина оставалась у бабушки, да много ли бабушке одной надо, и доживала до весны и до лета, когда, снова собравшись вместе, наваливались на ягоду всей семьёй — только подавай!

Мама была отсюда, из этого посёлка, выросла здесь, а папа городской, но именно он постоянно тянул её сюда, а мама если и ехала, так нехотя, без удовольствия, лишь бы не обидеть бабушку.

И дружба папы с Митяем не нравилась маме. Митяй когда-то «сидел», кроме того, он «пил»

— были, были у него особого рода меты, которые отпугивают благочинных людей. Он и не скрывал их, а, чувствуя неприязнь к себе Саниной мамы, любил, когда его «заносило», рассказывать при ней тюремные истории или пьяные свои похождения, по которым выходило, что за два года в неволе он зарезал там не менее двадцати человек, а не позже чем вчера ограбил на берегу возле столовой пятерых туристов. Митяй уж больно преувеличивал, нажимая при этом на лагерный жаргон, и мама, конечно, верила не всему, но кое к чему относилась всерьёз, считая, что для того и рассказываются небылицы, чтобы скрыть правду, заинтересованную в том, чтобы её скрывали. Что же касается теперешних похождений Митяя, мама не могла не знать, что, осуждённый в своё время за пьяную драку, Митяй с тех пор больше смерти боится всякого мужицкого шума и старается отойти в сторонку, едва лишь он назревает. Папа, защищая Митяя, в споре с мамой начинал горячиться, а потому мало что мог сказать, он повторял лишь раз за разом, что даже в самом скотском виде Митяй остаётся человеком и ведёт себя как человек, не то что некоторые трезвенники.

Бабушка, не любившая споров и тоже боявшая-

ся их, как Митяй драк, примирительно вздыхала: «Он мужик-то не дурной, нет, только из круга выбился». Вот это «из круга выбился» почему-то больше всего и возбуждало в Сане интерес к Митяю. Есть, значит, люди в круге и есть за кругом — и что же, не может или не хочет он вернуться обратно в круг?

Митяй не спрятал Санину трёшку, вертел её в руках, раздумывая, очевидно, что пообещать, какой назначить себе и Сане срок, чтобы вернуть деньги. И неожиданно пожаловался:

— Я, Санёк, уж три ведра ягоды задолжал народу. Завтра надо топать.

Это означало, что он занимал деньги под ягоду. Тем он и отличался, то и ставил ему всегда папа в заслугу, что Митяй не попрошайничал, как некоторые в посёлке, которые знали одно: любым способом взять, выманить, выпросить — нет, Митяй сразу назначал, когда и чем он может вернуть долг, и, за редкими исключениями, возвращал потом в точности, а исключения эти заключались в том, что в назначенный срок Митяй, пьяный или трезвый, приходил и говорил: сегодня, хоть режь меня, не могу, а смогу тогда-то.

Он вертел в руках трёшку и вёл какие-то уж очень сложные подсчёты, но, ничего утеши-

тельного, по-видимому, не вычислив, вдруг предложил:

— А хошь — пойдём завтра со мной заместо отца. Ягода есть — я бегал, смотрел. Промнёшься, чем дома сидеть.

И когда Саня, удивлённый и обрадованный, согласился без раздумий, Митяй посмотрел на него внимательней и строже, словно только теперь дотянув тяжёлым своим умом, что перед ним совсем ещё не тёртый в тайге, да и нигде не тёртый, домашний городской парнишка. Саня заметил его неуверенность.

— Да ты что, Митяй, ты думаешь, не дойду, что ли? Я хожу нормально, ты не бойся.

— Не дойдёшь, там останешься, — сердито буркнул Митяй и спрятал трёшку в карман. — Только это… с ночёвой пойдём, запас бери. Одежонку, главно, потеплей бери на ночь.

* * *

Саня ахнул и невольно приостановился, когда, спустившись с горы и вывернув из-за последнего дома, увидел он утром на площадке, где притормаживал поезд, огромную толпу народа. В серых и вялых утренних сумерках, когда не свет, не темь, толпа действительно казалась огромной

— много больше, чем живёт в поселке, и люди с трёх сторон всё подходили и подходили. В четвёртой стороне, на воде, один за другим взрёвывали оглушительно моторы, и лодки с пригнувшимися и настороженными, как на гонках, фигурами устремлялись вдоль берега вправо. Те, что ждали поезда, держались группами и тоже были почему-то насторожены и малоразговорчивы.

В этом незнакомом по большей части и недружелюбном многолюдье Саня не сразу отыскал Митяя. Сегодня это был совсем другой человек, чем вчера. С хитровато и уверенно поблёскивающими глазами, с плутоватой улыбкой на широком и поздоровевшем за ночь лице Митяй сидел на рельсе и, по-монгольски подогнув под себя короткие ноги в сапогах, задирал стоящего перед ним и в чём-то перед ним виноватого, хмурого и растрёпанного с головы до пят, помятого мужика, рассказывая тому что-то, что тот не помнил и не хотел помнить. Хмуро отнекиваясь, мужик с надеждой смотрел в сторону вокзала, откуда должен был появиться поезд. Когда Саня подошёл и поздоровался, он тут же, воспользовавшись случаем, отодвинулся от Митяя, и — за спины, за спины…



— Куда?! — весело закричал ему вслед Митяй. — Ну, Голянушкин, пустая голова, я тебя в тайге разыщу, ты от меня не спрячешься.

Саня оглянулся: почему пустая голова? — но мужика уже и след простыл. А оглянулся Саня потому, что у Митяя на голове была шапка, старая и матерчатая, выцветшая до столь скорбной окраски, что её нельзя уже и назвать, но как-то удивительно подходящая для Митяя, для всего его ладного в это утро и подогнанного вида. Всё по отдельности было некстати — шапка, голубенькая майка под тёмным пиджаком с подвёрнутыми

рукавами, широкие, как шаровары, и светлые от частой стирки брюки, заправленные в разношенные, намазанные дёгтем сапоги, — и всё вместе казалось именно тем, что и должно быть на человеке, который отправляется в лес не на прогулку. То ли благодаря лицу, то ли фигуре, то ли чему ещё Саня знал уже, что есть такие счастливые люди, на которых любая нескладина сидит так, что позавидуешь, но у Митяя было что-то иное, у него этот лад шёл словно бы от какого-то согласия с собой, когда человеку всё равно, что надеть, лишь бы было удобно, и потому всё надетое вынуждено выглядеть ловко и хорошо.

Митяй увидел за спиной у Сани рюкзак с высовывающимся краем ведра и спросил:

— А горбовик отцов где?

— Он большой сильно.

— Из большого не выпадет. Зря ты. Он, главно, лёгкий, по спине. Ладно, полезли, не зевай.

Подходил поезд, и Митяй, нацеливаясь, где лучше встать, сделал несколько шагов по ходу и придержал возле себя за рюкзак Саню. Как раз напротив них оказалась раскрытая дверца вагона, Митяй быстро и сильно втолкнул в неё Саню, прыгнул сам, и, пока давились в дверях, они сидели уже за столиком у окна. Довольный первой

удачей, Митяй весело посматривал в окно на толкотню, подёргиваясь и порываясь в особенно интересные моменты что-то крикнуть и всё-таки удерживаясь. И опять Саня подивился той перемене, которая произошла с ним со вчерашнего дня, будто и не Митяй с ним был, а его двойник, всегда весёлый и беззаботный. Впрочем, Саня ещё раньше начал подозревать, что у каждого человека должен существовать где-то в мире двойник, чтобы по результатам двух одинаковых по виду и противоположных по своей сути людей кто-то единый мог решать, что ему делать дальше.

— Ну, орда, ну, орда! — громко и вызывающе-счастливо крикнул Митяй, когда поезд двинулся и их сдавили на той и другой скамьях так, что не пошевелиться. — Держись, тайга!

— Что-то уж сильно много, — озираясь, осторожно заметил Саня, у которого испуг от многолюдья всё ещё не прошёл. — Неужели они все за ягодой?

— Ягоды хватит, когда бы по-людски её брать. Только это орда. Она не столь соберёт, сколь потопчет. Счас пёром попрёт. — Митяй вытягивал шею, кого-то высматривая. — Ничё, Санёк, мы им не попутчики, они скоро вывалят. Это все на обыденок, а мы ягодники сурьёзные. Мы туда

пойдём, где ихая нога не ступала.

Поезд шёл медленно и неровно, подёргивая старый скрипящий вагон, выслуживший пять сроков, какого на сквозных линиях давно не встретишь. И только здесь они всё ещё служат, удивляя заезжего человека грубым, на теперешний взгляд, затрапезным видом: тяжёлые деревянные полки, маленькие и подслеповатые, как в зимовье, окна в рамах, узкие проходы с торчащими углами и в избытке оставленные на память, вырезанные на стенах, окнах, дверях, полках имена и пожелания жаждущих вечности путников.

Да это и не было тем, что принято называть поездом, а скорее грузовой состав, к которому прицеплялось для пассажиров когда три, когда четыре вагона, а зимой так хватало и одного. Рано утром устаревшее сборное чудо-юдо уходило из посёлка и поздно вечером возвращалось, толкая в вагонах, выгородках и открытых платформах уголь и бензин, сборные деревянные дома и ящики с водкой, металлические конструкции и печенье-конфеты-галеты, огромные и красивые, сияющие яркой краской заграничные машины и отечественные походные электростанции. Весь этот груз в посёлке перегружался на корабли

и по Байкалу доставлялся потом на северную стройку.

Прежде тут проходила знаменитая Транссибирская магистраль. Из Иркутска она шла левым берегом Ангары и здесь этим берегом Байкала устремлялась дальше на восток. На знаменитой Транссибирской магистрали Кругобайкальская железная дорога была ещё более знаменитой — по трудности прокладки и эксплуатации пути, а главное — по красоте и по тому особенному и необыденному духу, который и в работе, и в дороге может дать только Байкал. Теперь едут, чтобы доехать, а прежде ехали, чтобы ещё и посмотреть, и вот в таком путешествии (теперь и слово-то «путешествие» кажется столь же устаревшим, как, например, «фаэтон») эти места были самое главное, самое желанно-жданное и самое памятное. Поезд останавливался не ради себя, а ради пассажиров на удобном и красивом береговом километре, и расписания так составлялись, чтобы он мог постоять, а люди могли поплескать друг другу в лицо байкальской водичкой, поохать и поахать над всем тем, что есть вокруг, и ехать потом дальше с затаённой мечтой увидеть и почувствовать всё это снова. На станции Байкал в истоке Ангары продавался в деревянных рядах

омуль солёный, копчёный, вяленый, жареный, с душком, с лагушком, шла бойкая и беспрерывная жизнь со свистками и гудками, с объявлениями по радио и криками на перроне — и куда всё это подевалось?!

«Как в другой жизни было», — говорила бабушка, но говорила без печали, точно о молодости, которая в надлежащем порядке была и прошла.

Эта прежняя жизнь оборвалась по обыкновенной теперь уже причине: стали строить Иркутскую ГЭС, и потому железную дорогу с берега Ангары, который затоплялся новым водохранилищем, потребовалось переносить выше. От Иркутска её спрямили, выведя без зигзагов сразу в самую южную точку Байкала — на станцию Култук, а эта часть дороги от Култука до Байкала осталась таким образом не у дел и упёрлась в тупик. Одну рельсовую нитку сняли, другую на всякий случай оставили. Разъезды и полустанки опустели, люди выехали из посёлков, которые за десятки лет стали им родными, бросив и огороды, и дома. Только на станциях, бывших когда-то немаленькими и существовавших не одной лишь дорогой, теплилась ещё жизнь; там, впрочем, старики и дотягивали.

Но то, что не разобрали вторые пути, теперь,

когда загремел БАМ, оказалось кстати, и хотя поезд делал по-прежнему за день один круг, рано утром уходя и поздно вечером возвращаясь, шёл он обратно тяжелей и был длиннее. Ягодников это расписание как нельзя более устраивало, чтобы доехать до нужного места, загрузиться, насколько позволит удача, а иной раз и под завязку за долгий летний день, и тем же ехалом в тот же день домой. А места здесь — не было бы счастья, да несчастье помогло, — став малодоступными для горожан, всё ещё могли считаться богатыми. Проникал, конечно, и сюда по-родственному и по-приятельски горожанин, да не так, как по новой дороге, где он, как саранча, выгрызал всё от черемши до кедровых орехов подчистую.

Если бы не горбовики, в вагоне с этим народом было бы, пожалуй, даже просторно. С горбовиком, на который навьючены ещё и одежда, и котелки, человек занимает в два раза больше пространства. Но, глядя на ягодников, Саня жалел уже, что не взял папин горбовик — из гнутой фанеры, лёгкий и удобный для таски, с которым можно падать, можно проваливаться в ямы: ягода останется в целости и сохранности. Он бы и взял его, да, примеряя вчера, обнаружил, что лямки ему великоваты. Но лямки, наверное, можно было

укоротить, Митяй бы помог. Санин новый зелёный рюкзак с выпирающим ведром выглядел среди этой дружной и ладной оснащённости уж очень нелепо — будто парень собрался не в тайгу, а на базар.

— Станция Березай! Кому надо — вылезай! — крикнул от ближней двери картавый и нездоровый голос.

Митяй, заглядывая в окно, пояснил:

— Восьмидесятый. Счас будет полегче.

Километраж здесь сохранился прежний: когда-то досюда насчитывалось восемьдесят километров от Иркутска.

Поезд начал тормозить, и горбовики зашевелились, закачались, потом, отбивая в купейные боковины остающихся, поплыли к выходу, куда их втягивало, как в воронку, и с силой выносило на простор, размётывая на стороны, где они обретали наконец хозяев, окликающих друг друга и собирающихся опять своими группами. Вышло едва не половина народу, и в вагоне действительно стало полегче. Видно было, когда поезд тронулся, как вышедшие длинной очередью, выстроившись друг за другом, уходили в распадок мимо покинутых домов, сквозящих в окнах пустотой и холодом.



Отсюда, из окна вагона, картина эта поразила Саню. День поднимался пасмурный, серый, тайга ещё не согрелась от света, и люди, удаляющиеся в тёмный распадок мимо нежилых домов, как мимо чужих гробов, казались уходящими туда в поисках своего собственного вечного пристанища и несущими в этих странных посудинах итоги своей жизни. Что там ягода?! Ягода так, для отвода глаз. И пока не скрылся из виду распадок, у Сани было полное и яркое ощущение того, что он смотрит изнутри на старое место захоронения и над домами, точно над могилами, где-то там, по другую сторону, стоят, как и положено, памятники.

Папа, читая однажды книгу, вслух произнёс оттуда фразу: «смертный ужас рождения». «Как,

как?» — переспросила мама. Папа повторил. «Что за глупость?» — растерянно сказала мама, на что папа не сразу и задумчиво произнёс: «Не такая уж, однако, и глупость. Тут есть что-то такое, что нам не положено знать. Тут, может, это случайно сказано, но за этой случайностью — бездна». Он отложил книгу и в ещё большей задумчивости, неестественным, странно удалённым голосом продолжал: «Нам чудится, что мы живём, а нас, может, давно похоронили, но мы ничего не помним. Мы суетимся тут, хлещемся… Как перевёртыши. И не понимаем, что нас нет, что это кто-то собрал наши грехи и страсти, чтобы посмотреть, какими мы были». Мама испугалась: «Перестань, не говори хоть при Сане свои глупости. Он же запомнит». Папа посмотрел на Саню и улыбнулся: «И правда глупости. Живи, Саня, так, будто ты только здесь и родился».

Но мама была права: Саня запомнил, и папина фраза из книжки прозвучала сейчас на остановке голосом того неизвестного, кто её впервые сказал.

Раз за разом пошли тоннели, которыми славится дорога, недлинные и чистые, с красиво отделанными порталами; на освободившейся от вторых путей обочине стояли в тоннелях копны

с сеном, в опущенное окно наносило горьковатой сыростью, мелькали белые наросты на стенах, извивающиеся полосами и похожие на сосуды в утробе, поднимался и нарастал, самооглушаясь, шум поезда, сильнее скрипел и болтался вагон, но странно: сумрак тоннелей нравился Сане, он начинал возбуждать в нём какое-то особое, глубинное чутьё и не успевал — снова вырывались в широкий и светлый, небесный сумрак дня и снова ненадолго наддавал поезд. Саня не бывал здесь и смотрел во все глаза. За тоннелями в опасных местах тянулись оградительные от камнепада стенки, ровно и аккуратно, будто вчера только, выложенные; на одной из них торчал огромный, как танк, валун. Невозможно было представить, как удалось ему запрыгнуть на стенку и удержаться на ней, будто это и имел он целью: встать, словно памятник на постаменте, в виду исполинской скалы в подтверждение того, что стена здесь стоит не напрасно.

Пялясь на дорогу, Саня и не заметил, когда к ним подсел пожилой, много старше Митяя, мужик с белым не по-здешнему и дряблым лицом, но по манерам, по уверенности в себе здешний. Сначала он услышал голос Митяя:

— А я тебя гляжу, гляжу… Уж думал, остался…

Или проспал.

— Под самый конец залез. Едва протолкался, — ответил кто-то незнакомый, и тут Саня обернулся к ним от окна. Мужик в выпущенной поверх штанов толстой байковой рубахе сидел рядом с Митяем и, готовясь к еде, выуживал из раскрытого горбовика помидоры.

— Чаю утром не успел попить. Парень, что, с нами идёт? — не глядя на Саню, спросил он.

— С нами.

— Ты не говорил.

— Ну и что? Когда бы я сказал?

— Да ладно, я сам в пристяжке. Дождь вот не снарядился бы, дождём пахнет.

Саня насторожился: он тоже не знал, что они с Митяем идут не вдвоём. С третьим в тайге, конечно, надёжней и веселей, но отчего-то неприятно было, что он узнал о нём только сейчас.

На 94-м километре, где остановки не полагалось, но машинистов, своих мужиков, уговорили притормозить ещё, быть может, вчера, посыпались вниз с задранными горбовиками, как сбрасываемые части какого-то одного разобранного огромного существа. Так показалось Сане. Машинисты, поторапливая, подёргивали состав, и люди, устанавливаясь на земле на ногах, сме-

ялись и грозили в голову состава кулаками. В вагоне осталось всего несколько человек, но они были снаряжены не для тайги и ехали в райцентр. Митяй, обойдя вагон, повеселел и, вернувшись на своё место, задиристо сказал:

— Ты только, дядя Володя, не каркай. Дождя не должно быть. Правильно я говорю, Санёк?

Они втроём сошли на 102-м, и Митяй, дурачась, замахал рукой: трогай, больше нам тут никто не нужен.



* * *

— Пошто, говоришь, они все там остались, а мы сюда? А пото, Санёк, что там ходьба лёгкая. Час, ну, чуть боле враскачку — и на месте. А тут покуль дойдёшь, надо три раза ноги, как коней менять, да сколь потов сойдёт. Усёк? — Митяй, обращаясь к Сане, говорил это и дяде Володе, который тоже шёл здесь впервые, предупреждая их таким образом о трудной дороге.

Бессчётное число раз переходили они речку с берега на берег, поднимаясь встречь ей по распадку, то прыгая по камням, то перебираясь по упавшим поперёк лесинам, то вброд, а то перешагивая в узких глубоких горловинах, в которых клокотала тёмная вода. Тропа на белых, как высушенных, камнях терялась, не оставалось, сколько ни всматривался Саня, никакой мало-мальской приметы, но Митяй словно бы видел её поверху и точно выходил на её продолжение. Они шли то по крутому откосу, где больше сил тратилось, чтобы, упираясь, не скатиться вниз, чем передвигаться вперёд, то по такому узкому прижиму рядом со скалой, на котором не только не разминуться вдвоём, но и одному было тесно, так что приходилось заплетать ноги, чтобы шагать в линию,

то по высокой, выше человеческого роста, траве в заболоченных низинах. Но затем тропа, давая отдохнуть, забирала в лес, становилась сухой и широкой, шагу ничего не мешало, и идти по ней было одно удовольствие.

Тайга стояла тихая и смурная; уже и проснувшись, вступив в день, она, казалось, безвольно дремала в ожидании каких-то перемен. Про небо в густой белой мути нельзя было сказать, низко оно или высоко, из него словно вынули плоть, и осталась одна бездонная глухая пустота. Солнце сквозь неё не проникало, не было и ветра — тяжёлые, раздобревшие за лето деревья стояли недвижно и прямо, охваченные истомой, и только над речкой, повинуясь движению и шуму воды, подрагивали на берёзках и кустах листья. Время от времени вспархивали птицы, однажды, шагая, они вспугнули с тропы выводок рябчиков, но и он снялся и улетел спокойней обычного, чтобы не нарушать общей тишины.

Чем дальше уходили они, тем больше становилось кедрача и тем чаще задирал Саня голову, высматривая шишки. Их было много, и висели они — как сидели в густой тёмной хвое, пузато заваливаясь на сторону в поисках опоры. А после того как Митяй, идущий впереди, поднял с тропы

несколько шишек, потревоженных кедровкой, Саня стал сигать едва не под каждое дерево и тоже нашёл одну шишку, наполовину вышелушенную, и две вместе на общем отростке, сорванные ветром и нисколько не пострадавшие. Как тут было утерпеть, чтобы не похвастаться! Саня побежал к Митяю, тот, не убирая шага, кивнул:

— Орех нонче есть. От и до. Но и кедровка, подлюка, уж полетела. — И добавил неодобрительно: — Ты шибко-то не прыгай. Скоро нам ног мало будет, на карачках поползём.

Это «скоро» началось после того, как, отдохнув и поев без чая, они оставили речку и взяли от неё влево. До этого всё время тянулся подъём, то положе, то круче, он и теперь продолжался, но они пошли наискось горе и шли, обманывая её, поначалу легко. Кедрач и ельник остались внизу, начался осинник с высокой и уже полёгшей травой, закрывшей с обеих сторон тропу так, что её нащупывали только ноги. Потом и осинник поредел, всё снова пошло вперемешку — кедры, сосны, берёзы, ели, а гора, которую они старательно обходили, словно перехитрив их, развернулась и встала перед ними в рост. Они полезли.

Митяй по-прежнему шагал первым, и только он

один знал, что ждёт их впереди. Лес всё больше и больше редел, освобождая небо, — казалось, вот-вот они заберутся наконец на вершину, откуда начнётся крутой спуск: оттого и открылось небо. Дядя Володя дышал тяжело, с подсвистом. Саня не решался обходить его, они шли всё в том же порядке, как вышли, но Саня с дядей Володей теперь уже далеко отстали от Митяя, вздёрнутый горбовик которого, закрыв голову, двигался словно бы самостоятельно, на собственных ногах и не знал устали.



Крутизна действительно поубавилась, в лицо дохнуло свежестью… Саня шёл с опущенной головой, глядя себе под ноги, и едва не натолкнулся на горбовик дяди Володи. За ним, развернувшись, стоял Митяй и ожидающе улыбался.

— Ты что это?.. Ты куда нас? — испуганно озираясь, спрашивал дядя Володя.

— Перекур! — объявил Митяй и сел на первое поваленное дерево, как-то без удовольствия, мрачно довольный тем, что он может им показать. — Дальше по-пластунски.

Саня не верил глазам своим: только что шли по живому, как всегда, на перевале аккуратному, весело и чисто стоящему лесу и вдруг… Отсюда, где они остановились, и докуда-то дотуда впереди, где это кончалось, огромной и неизвестно сколько длинной полосой вправо и влево всё было снесено какой-то адской, чудовищной силой. Деревья, наваленные друг на друга, высоко вверх задирали вывороченные вместе с землёй гнёзда корней, топорщились сучьями с необлетевшей ещё жёлтой хвоей, валялись обломками, треснувшими вдоль и поперёк. Таких завалов Саня и представить себе не мог. То, что не выворотило с корнями, — больше всего это были ели и кедры, — обломало, оставив уродливо высокие

и расщеплённые пни, стоящие в причудливом и словно бы не случайном порядке. Только кое-где уцелел подрост, и его зелёная хвоя и зелёные листья, уже осмелевшие и продирающиеся вверх, казались среди этого общего и чересчур наглядного поражения неуместной игрой в продолжающуюся жизнь.

— Что это?.. Что тут было? — едва опомнившись, спросил Саня.

— Смерч, — сказал Митяй.

— Какой смерч?

— Такой, с Байкала. Больше неоткуль. Я сам впервой такую разруху вижу. В прошлом году с отцом твоим по ягоду так же пошли — всё нормально. А осенью я по орех… Может, главно, первый и увидел. Ты пойди погляди, до чего ровно с этой стороны обрезал. Как отмерено.

Саня прошёл и посмотрел: граница между повалом и живым, стоящим лесом действительно была на удивление ровной, хотя и с зазубринами, куда бросало с обречённой полосы деревья.

— Этак и убить могло, — угрюмо заметил дядя Володя, исподлобья озирая поверженное лесное воинство.

Митяй засмеялся; Сане послышалось — не без злости:

— Могло? Да тут не могло не пришибить, когда бы ты на ту пору тут оказался. Не гадал бы счас.

— Я дома сижу. Это ты по лесам шастаешь, — не остался в долгу дядя Володя.

— А новичков-то и хлещет. Их-то, главно, и караулит. Из-за их-то и происходит. Ишь, сколь тайги из-за одного такого погубило.

— Из-за кого? — вскинулся дядя Володя. — Что ты мелешь?!

— Откуль я знаю, из-за кого. Я тут не был.

— Ну и не болтай зря. Хозяин тайги сыскался! Как это вы все не любите новичков — что Николай Иванович, что Лёха, что ты… Будто свой огород… захочу — пущу, не захочу — заверну.

Митяй усмехнулся.

— Ты меня с ими не равняй, — подумав, примирительно сказал он. — Я бы такой был, как ты говоришь, я бы тебя с собой не взял. И парня бы вот не позвал. Про Лёху ты тоже зря: слыхал звон, да не понял, где он. Лёха — аккуратный мужик, он порядок любит. А кажного в тайгу пускать — это разор только, её и так разорили.

— Я рядом с тобой живу — почему я каждый?

— Я не про тебя, дядя Володя, не про тебя, — вроде бы и искренне, и ещё более примирительно ответил Митяй, но даже Саня почувствовал в

его голосе нетвёрдость и пустоту: что-то Митяй недоговаривал.

И вот через эту полосу шириной не более километра они продирались часа полтора. Прежде Митяй уже пытался чистить здесь ход, он и сейчас шёл с топором, часто останавливаясь и обрубая сучья, отбрасывая их в сторону, и всё равно идти было тяжело. Они то подлезали под стволы снизу, задевая и корябая горбовиками, то и дело осаживая назад и неуклюже заваливаясь, то забирались наверх и двигались по стволам, как по перекрещённым и запутанным мосткам, перебираясь со ствола на ствол, чтобы хоть несколько шагов, да вперёд. Шли замысловатыми зигзагами — куда можно было идти. Дядя Володя стонал и ругался, пот лил с него ручьями. Большой зелёный узел, оказавшийся плащ-палаткой, с его горбовика сдёрнуло — её подобрал Саня, который и без того замучился со своим поминутно сползающим с плеч рюкзаком. Спохватившись и увидев свою поклажу в руках у Сани, дядя Володя лишь бессильно кивнул головой: неси, пока не вышли, так и быть.

Но когда выбрались они наконец из завала и, пройдя ещё минут пятнадцать по чистой тропке, поднялись на вершину, обрывисто стёсанную

слева и отступающую вправо каменистым серпантином, когда неожиданно ударил им в глаза открывшийся с двух сторон необъятный простор в тёмной мерцающей зелени, победно споривший в этот час с белёсой пустотой неба, — за всё, за всё они были вознаграждены. Среди огромных валунов, заросших брусничником, важно и родовито, не имея нужды тянуться вверх, стояли — не стояли, а парили в воздухе — могучие и раскидистые сосны, как и должно им быть царственными и могучими в виду многих и многих немереных километров вольной земли. Здесь был предел, трон — дальше и внизу, волнисто воздымаясь к дымчатому горизонту и переливаясь то более светлыми, то более тёмными пятнами, словно бы соскальзывая и упираясь, широким распахом стояла в таинственном внимании державная поклонная тайга.

Митяй, сняв горбовик, весело и громко возгласил:

— Ну вот, дядя Володя, а ты говорил! Зачем ты неправду говорил?!

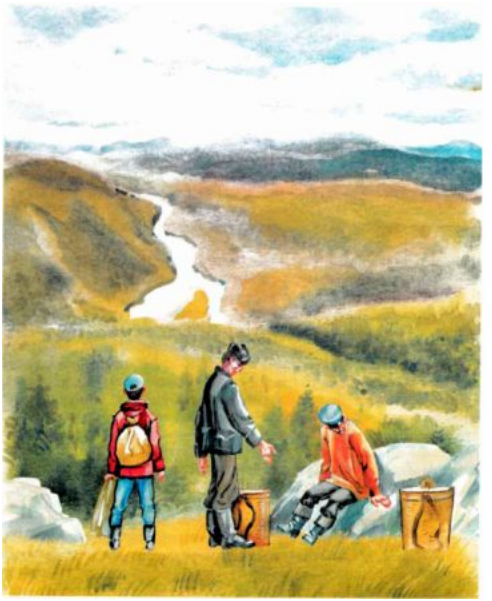
Дядя Володя, тяжело, с кряхтеньем усаживаясь на камень, не отозвался.

— Вот это да-а! — ахнул Саня, подошедший последним.

— От и до, Санёк, а?! — крикнул ему Митяй. — Запоминай — во сне потом будет сниться!

Где-то рядом, сердито заявляя свои права на эту округу, засвистел бурундук. Митяй засмеялся:

— Да уйдём, уйдём, парень. Посидим и уйдём. Что ж ты, дурак такой, и меня не помнишь?



* * *

«Не может быть, — не однажды размышлял Саня, — чтобы человек вступал в каждый свой новый день вслепую, не зная, что с ним произойдёт, и проживая его лишь по решению своей собственной воли, каждую минуту выбирающей, что делать и куда пойти. Не похоже это на человека. Не существует ли в нём вся жизнь от начала и до конца изначально и не существует ли в нём память, которая и помогает ему вспомнить, что делать? Быть может, одни этой памятью пользуются, а другие нет или идут наперекор ей, но всякая жизнь — это воспоминание вложенного в человека от рождения пути. Иначе какой смысл пускать его в мир? Столь совершенного, совершенству которого Саня начинал удивляться всё больше и больше, всё больше упираясь в этом удивлении в какую-то близкую и ясную непостижимость; столь законченного в своих формах и способностях и столь возвышенного среди всего остального мира — и вдруг, как перекати-поле, на открытую дорогу — куда ветром понесёт? Не может быть! К чему тогда эти долгие и замечательные старания в нём? Столько сделать внутри и оставить его без пути? Это было бы чересчур

нелепо и глупо».

Сане казалось, что таким именно он это место и видел, как можно видеть предстоящий день, стоит только сильней обычного напрячь память. Не совпадали лишь кой-какие детали. Вернее, он не заставил себя рассмотреть их в подробностях, увидев главное и решив, что этого достаточно. Через пять минут, после того как подошли к шалашу, Саня уже не сомневался, что он бывал здесь. Конечно, он не бывал в действительности, но он словно бы, не свернув с тропы, как лежащего перед ним пунктира, пришёл туда, куда должен был прийти, и застал то, что должен был здесь застать. Но застал и увидел в полной картине, а не в голых представлениях, во всех красках и полной, не имеющей нигде больше подобия жизни.

Славное это было место: на сухом взгорке среди елей и кедров. Под защитой огромного, густо и широко разросшегося кедра и стоял шалаш, крытый корой и ветками и устланный от земли старым лапником и травой. Рядом чернело кострище, аккуратно и по-хозяйски обустроенное и обложенное камнями, с наготовленным таганком и свисающими с него закопчёнными берёзовыми рогульками для котлов, а чуть поодаль со стороны речки высоко упавшую лесину

сверху затесали и приспособили под стол. И чисто, обжито было здесь: ни бумаги, ни банок, ни склянок — порядок, заведённый человеком, поддерживала и тайга. Сухие сучья, накиданные ветром, словно приготовлены были для растопки, чтобы не искать её человеку, и загорелись сразу. Митяй, распоряжавшийся весело и нетерпеливо, сгонял Саню за водой, и, пока дядя Володя нарезал хлеб, пока доставали каждый с излишней готовностью принесённую еду и раскладывали её в ряд на длинном и узком постолье, пока то да сё — чай был готов. Пили его после трудной дороги всласть и, попив, разморились, осоловели от сытости, от густо и недвижно стоящего воздуха и усыпляющего бульканья воды в речке — потянуло отдохнуть. Позёвывая, Митяй позволил:

— Ладно, полчаса на отлёжку — само то. Только чтоб ни одна нога не хрумкала. Успеем, наломаемся.

Он лёг подле затихавшего костра, подложив под голову шапку и подстелив под себя телогрейку, которая зимовала и летовала у него здесь не один уже год и превратилась в подобие телогрейки, не потерявшее всё же, по-видимому, способности греть и мягчить. Дядя Володя ушёл в шалаш и скоро засопел там, а Саня сидел у лесины, где

пили чай, на камне и, расслабившись, безвольно и дремотно, смотря и не видя, слушая и не слыша, открылся для всего, для всего, что было вокруг: для широкой заболоченной низины за речкой, сплошь заросшей голубичником и размеченной корявыми берёзками; для низкого неба, начинающего постепенно натекать какой-то мутной плотью; для приглушённых и зыбких звуков, доносящихся, как неверное эхо, из глубины переполненного тишиной мира. И всё это вливалось, входило, вносилось нароком и ненароком в забывшегося в сладкой истоме парня, всё это искало в нём объединяюще-продолжительного, в иную, не человеческую меру участия и правильного расположения — всё это заворожило и обморило его до того, что захотелось застыть здесь как истукану и никуда не двигаться.

Было душно; по щеке неподвижно лежащего на боку с закрытыми глазами Митяя струился пот, его пила большая сизая муха, то отбегая, то снова припадая бархатной членистой головкой к натекающей влаге и не давая ей скатиться за шею. Эта муха в конце концов разбудила Митяя, он сел, встряхнулся, отёр рукавом пиджака пот и осмотрелся.

— Кончай ночевать, мужики, — негромко ска-

зал он, позёвывая и внимательней всматриваясь в небо. — Выпросил ты всё ж таки дождя, дядя Володя, выпросил. Надо успеть до него.

А через минуту уже опять весело и напористо распоряжался:

— Давай, давай, Санёк, пошевеливайся. Чтоб, главно, полведра сегодня у тебя стучало. Ого, ты гляди, дядя Володя-то у нас!.. Держись, ягода! — Он увидел, как дядя Володя, подстегнув на ремень котелок, встал на изготовку с совком в руке. — А давай на спор, дядя Володя, что я без совка больше твоего нахвостаю. Давай? Боишься? Чего её совком драть, когда ягода такая?! Ты её рукой в леготочку натрясёшь. И ягода будет чистая — хоть на базар. Совком только лист обрывать, ты вполовину с листом её домой попрёшь.

Дядя Володя, не отвечая, первым двинулся к речке.

— Почали, Санёк, почали, — возбуждённо повторял Митяй, когда и они перешли речку и встали перед ягодником. Дядя Володя уходил слева в глубину низины, под ногами его чавкала и переливалась вода. Издав губами отрывистый, понукающий звук, Митяй наклонился над кустарником, и Саня услышал, как голо, отрывисто упали в его котелок первые ягоды, а потом, падая

и падая, перешли в частый и мягкий бормоток.

* * *

Столько ягоды Саня никогда ещё не видывал. И не представлял, что её может столько быть. Он ходил раньше не раз с бабушкой за малиной, ходил в прошлом году с папой и Митяем здесь же, на Байкале, в падь Широкую за чёрной смородиной, то был первый его серьёзный выход в тайгу, окончившийся удачно, но они брали тогда по оборышам, подчищая оставшееся после других, и хоть набрали хорошо, большого удовольствия это не доставляло. Тут же на этот раз они были первые, никто до них ягоду тут не трогал и не мял, а наросло её на диво, в редкий год, по словам Митяя, удаётся такой урожай. Теперь Саня знал, что это такое — кусты ломятся от ягоды: они действительно ломились, лежали от тяжести на земле или стояли согбенно, поддерживая друг друга в непосильной ноше.

Саня раздвигал кусты и замирал от раскрывшегося потревоженного густоплодья. Дымчато-синяя, сыто и рясно подрагивающая сыпь ослепляла, вызывая и удивление, и восторг, и вину, и что-то ещё, чему Саня не знал имени и что западало в душу всё это вместе скрепляющим

чувством — смутным и добротворным. Нагибая к себе куст, обряженный то круглыми, то продолговатыми плодами, Саня приступал к нему с игрой, которая вызвалась сама собой и нравилась ему. «Не обижайся, — наговаривал он, — что я возьму тебя… я возьму тебя, чтоб ты не пропала напрасно, чтоб не упала на землю и не сгнила, никому не дав пользы. И если я тебя не возьму, если ты не успеешь упасть на землю и сгнить, всё равно тебя склюёт птица или оберёт зверь — так чем же хуже, если сейчас соберу тебя я? Я сберегу тебя, — Сане не хотелось признаваться, что он будет варить или толочь ягоду, это казалось варварством, — и зимой маленькая девочка по имени Катя, которая часто болеет… — И грубым, бестактным казалось называть себя — то, что он станет есть ягоду, и Саня вспоминал свою двоюродную сестру, которой и в самом деле перепадало немало варенья, так что Саня здесь не совсем лгал. — …и маленькая девочка по имени Катя… она очень любит голубицу, любит тебя, ты очень помогаешь этой девочке. Когда мы приедем домой, ты увидишь её и поймёшь, как ты нужна ей… не обижайся, пожалуйста».



Пальцы скоро научились чувствовать податливость ягоды, её крепость и налив и трогать её то одним лёгким касанием, то осторожным нажимом, то с мягкой подкруткой, чтобы не оборвать плоть, когда ягода не хотела отставать от ростка; пальцы делали своё дело быстро и на удивление ловко, чего Саня и не подозревал в себе, словно и это пришло к нему как недалёкое и желанное воспоминание. И, обминая, обласкивая каждую ягодку, подталкивая их одну за другой в

ладонь и ссыпая затем в пристёгнутый к ремню бидон, болтавшийся у него на животе, повторяя во множестве одни и те же движения, он и не замечал их однообразия, как не замечал времени, с головой уйдя в это живое и чувственное рукоделие и потерявшись совершенно в его частом и густом узоре. И когда что-то — посторонний звук или неосторожное движение — приводило его в память, он, с трудом узнавая, озирался вокруг: вот он, оказывается, где, это он, оказывается, ягоду берёт, а ему чудилось… Но что ему чудилось, сказать было нельзя.

И как приятно было, не заглядывая в бидон, ощущать его всё возрастающую и возрастающую тяжесть, а потом, опуская ягоду, словно бы ненароком натолкнуться рукой на его поднявшееся тёплое нутро: так быстро! И идти с наполненным бидоном к шалашу, постоять подле ведра, прежде чем высыпать в него, засмотревшись на парную и живую, томно дышащую, каждая ягодка отдельно, светло-глянцевую синеву сбора. Снизу, когда Саня высыпал голубицу в ведро, она была уже отпотевшей и тёмной и казалась задохнувшейся. Отсюда, снизу, можно было кинуть наконец несколько ягодок в рот, обмереть на мгновение от растекшейся под языком сладости

и нежно тающей плоти и, причмокивая, медленно возвращаться обратно к кустарнику, а там на десять, на пятнадцать минут и вовсе забыть про бидон, словно бы допивая начатое снадобье, всё дополняя и дополняя его неоговорённую меру.

Нету, нету на свете ягоды нежней и слаще голубицы, и стойким надо быть человеком, чтобы принести её из лесу в посудине.

Пошёл дождь, но никто из них троих ничем не отозвался на него, не заторопился в шалаш, каждый ещё больше заторопил руки. Митяй и Саня по-прежнему держались неподалёку друг от друга, к ним постепенно приближался из глубины болотины дядя Володя. Дождь, падая на кустарник, шумел густо и звучно; мокрую ягоду брать стало трудно, она давилась, мялась, к рукам налипали листья. Быстро темнело, и только тогда, спохватившись, Митяй прокричал отбой. Саня успел к этой поре высыпать в ведро три трёхлитровых бидона, наполнив его больше чем наполовину.

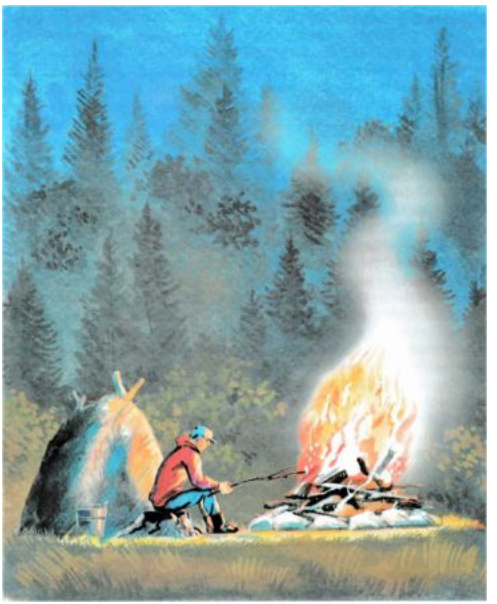
В темноте и под дождём они рубили и подтаскивали дрова, наготавливая их на сырую и неспокойную ночь. Митяй ругал и себя, и дядю Володю за то, что, как маленькие, заигрались на ягоде и припозднились, но чувствовалось, что

ругается он так, для порядка, довольный сам, что брали до последнего и успели немало. Гоношиться под дождём с варевом не захотели, вскипятили опять чай и, забравшись в шалаш, пили его при свете костра долго и сладостно, как можно наслаждаться им только в тайге после нелёгкого и удачного, несмотря ни на что, дня.

Это была первая Санина ночь в тайге — и какая ночь! — точно взявшаяся показать ему один из своих могучих пределов. Тьма упала — хоть ножом режь, в ней не видно было ни неба за кругом костра, ни сторон, сплошным шумом шумел там дождь. Он то примолкал ненадолго, то припускал сильней, и сильней тогда начинал шипеть костёр, сопротивлявшийся воде, с досадой выстреливая вверх угольками и принимающийся время от времени для острастки поддувно и сердито завывать. Но огонь горел хорошо. Митяй, перед тем как окончательно укладываться, навалил на костёр, положив их рядом, две сухие лесины, которых должно было хватить надолго. Саня сидел и смотрел, как мечутся по этим лесинам маленькие древесные муравьи, как отгорает и опадает щепа, обнажая источенное ими, похожее на опилки зернистое крошево. Когда он поднимал глаза к небу, там всё

так же стояла исполинская тьма, начинавшаяся сразу от земли и поднимавшаяся до неизвестно какой бесконечности. Дождь, проходящий сквозь неё, казалось, мог быть только чёрным. И до чего жалок, беспомощен и игрушечен, должно быть, представлялся откуда-то оттуда этот костёр! Но кому, кому мог он представляться, кто, кроме сидящего подле него Сани, мог его видеть? Но не для того ли и тьма, тьма-тьмущая, чтобы можно было его видеть из таких далей, которые трудно представить? А рядом Саню — настороженного и готового ко всему, ждущего чего-то с неба ли, со стороны ли с нетерпением и уверенностью: нет, что-то должно случиться… Такая ночь не напрасно. Вот спит уже Митяй, давно похрапывает укрывшийся с головой плащ-палаткой дядя Володя — почему только ему, Сане, не хочется спать? Но не потому ли и уснули они, не потому ли их усыпили, чтобы он мог остаться один и наедине?.. Кто внушил ему, и это внушение он ощущал в себе всё отчётливей, будто сразу не расслышал и только после расшифровал по оставшимся звукам сказанное, — кто внушил ему, что именно теперь и должно что-то для него открыться? Нетерпение становилось всё сильней — и ближе, значит, было исполнение, точно

что-то, невидимое и всесильное, склонилось и рассматривает, он ли это. Нет, не рассматривает, Саня вдруг понял, что он ошибается и рассматривать его не могут, но это что-то улавливает все его чувства, всю исходящую из него молчаливую тайную жизнь и по ней определяет, есть ли в нём и достаточно ли того, что есть, для какого-то исполнения.



Дождь опять стал примолкать, во вздымающемся воздухе ощутимо донёсся запах багульника и кедровой смолы. Перевернулся с боку на бок и что-то пробормотал спросонья Митяй. И ещё тише стал дождь, он висел над костром на тёмном фоне парящим бусом. Саня замер, приготовившись, почему-то предчувствуя, что вот сейчас… И вдруг тьма единым широким вздохом вздохнула печально, чего-то добившись, затем вздохнула ещё раз. Дважды на Саню дохнуло звучанием исполински-глубокой, затаённой тоски, и почудилось ему, что невольно он отшатнулся и подался вослед этому возвеченному, невесть как донёсшемуся зову — отшатнулся и тут же подался вослед, словно что-то вошло в него и что-то из него вышло, но вошло и вышло, чтобы, поменявшись местами, сообщаться затем без помехи. На несколько мгновений Саня потерял себя, не понимая и боясь понять, что произошло, приятное тепло сплошной мягкой волной разлилось по его телу, напряжение и ожидание исчезли вовсе, и с ощущением какой-то особенной полноты и конечной исполненности он поднялся и перешёл в шалаш.

Он уснул быстро, пристроившись на свободное место между Митяем и дядей Володей, но,

засыпая, услышал, как снова припустил дождь и закапало сверху сквозь ветки и корьё. И вдруг проснулся — дядя Володя, перегнувшись через него, расталкивал Митяя и испуганно шептал:

— Митяй! Митяй! Поднимайся! Кто-то ходит.

— Кто ходит… Медведь, наверно, ходит, — недовольно отвечал Митяй. — Кому тут ещё ходить?!

— Слышишь? Ты послушай!

Митяй, продолжая сердито ворчать, поднялся и стал подживлять костёр. Затрещали посыпавшиеся в стороны искры, затем ровно загудел огонь. Когда Митяй вернулся на своё место, Саня уже спал: слова о медведе мало встревожили его — или он окончательно не проснулся, или подействовал спокойный голос Митяя.

И ещё раз он услышал сквозь сон, как дядя Володя снова расталкивает Митяя, но слова его звучали где-то далеко-далеко и были плохо слышны. И там же, далеко, но с другого конца Митяй ворчливо объяснял:

— Да ты не бойся, спи. Походит и уйдёт. Ему же интересно поглядеть, кто это тут, вот он и выглядывает. Больше мы ему ни про что не нужны. Если бы ты тут жил, а к тебе бы, главно, медведи без спросу припёрлись, на твою территорию, — тебе что, неинтересно было бы? И ты бы так же

бродил.

Больше Саню уже ничто не могло разбудить.

* * *

Его растормошил Митяй. Первое, что увидел Саня, открыв глаза, было солнце — не случайно выбравшееся из-за туч, чтобы показаться, что оно живо-здорово, а одно-единственное во всё огромное чистое небо, склонённое от горы за речку и дальше, чтобы солнцу легче было выкатиться на простор. Возле горы лежала ещё тень, слабая и начинающая подтаивать, от неё, казалось, и натекала небольшая сырость, но вся низина сияла под солнцем, и взрывчато, звёздчато взблёскивали там на кустах яркими вспышками погибающие капли воды. И куда всё так скоро ушло — и беспросветная, бесконечная тьма в небе, и дождь, и ночные тревоги и страхи, — нельзя было представить.

Митяй успел не только вскипятить чай, но и приготовить варево, которое дружным согласием решили оставить на обед — перед тем как уходить обратно. Костёр догорал, слабый дымок редкой и тонкой прядью уходил прямо вверх, куда чувствовалась общая тяга. Саня и ступал как-то необыкновенно легко и высоко, словно

приходилось затрачивать усилия не для того, чтобы ступать, а чтобы удержаться на земле и не взлететь. Деревья стояли с задранными ветками, и вытянуто, в рост, прямилась трава.

Они попили чаю и посидели ещё, наслаждаясь солнцем и поджидая, пока оно подберёт мокроту. Митяй был весел и громок и подтрунивал над дядей Володей, над его ночным бдением. Дядя Володя, по обыкновению, отмалчивался, но на этот раз с видимой затаённостью и злостью. Это в конце концов почувствовал и Митяй и отстал от него. Саню же всё в это яркое утро приводило в восторг — и то, как обрывались с кедра и шлёпались о шалаш и о землю последние крупные капли дождя; и то, как умиротворённо и грустно, вызывая какую-то непонятную сладость в груди, затихал костёр; и то, как дурманяще и терпко пахла после дождя лесная земля; как всё больше и больше выбеливалась низина, куда им предстояло идти; и даже то, как неожиданно и дурноголосо, напугав их, закричала над головами кедровка.

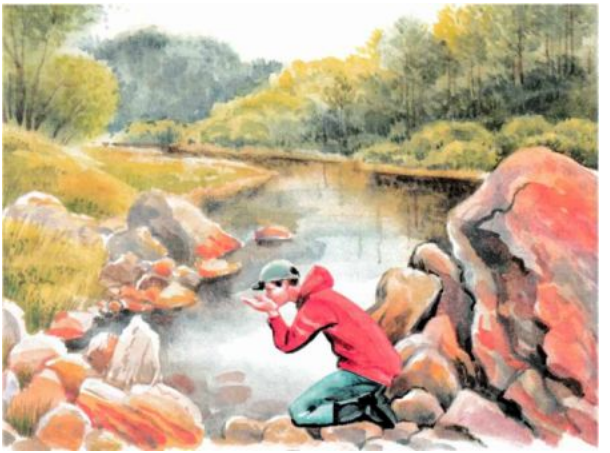
Солнце вошло в силу, воздух нагрелся — пора было приниматься за дело. Саня заглянул в своё ведро, стоящее по-прежнему в рюкзаке под кедром, — ягода в нём заметно осела и сморилась,

и всё-таки больше двух бидонов, прикинул он, в ведро уже не войдёт. Можно не торопиться. Но только начал он брать, только потекла сквозь пальцы первая ягода, ещё больше налившаяся, отличающаяся от вчерашней тем, что произошло в эту ночь, и вобравшая в себя какую-то непростую её силу, только окунулся он опять в её живую и радостную россыпь — руки заработали сами собой, и удержать их было уже невозможно. Под солнцем голубица скоро посветлела и стала под цвет неба — стоило Сане на секунду поднять глаза вверх, ягода исчезала совершенно, растекалась в синеве воздуха, так что приходилось затем всматриваться, напрягать зрение, чтобы снова отыскать её — по-прежнему рясную, крупную, отчётливо видимую.

Он и не заметил, как набрал один бидон, потом другой… Ведро было полнёхонько, а он только разохотился. Обвязав сверху ведро чистой тряпицей, которую он для этой надобности и прихватил с собой, чтобы не высыпалась по дороге ягода, он неторопливо стал спускаться по тропке обратно. Митяй, не разгибая спины, рывками шевелился за строем реденьких берёзок справа, дядю Володю видно не было, он, похоже, предпочитал оставаться один. От избытка счастья

Саня сладостно вздохнул — так хорошо было, так светло и покойно и в себе, и в мире этом, о бесконечной, яростной благодати которого он даже не подозревал, а только предчувствовал, что она где-то и для кого-то может быть. Но чтоб для него!.. И в себе, оказывается, многого не знал и не подозревал — этого, например, нечеловечески сильного и огромного чувства, пытающегося вместить в себя всё сияние и всё движение мира, всю его необъяснимую красоту и страсть, всю обманчиво сошедшуюся в одно зрение полноту. Саню распирало от этого чувства, он готов был выскочить из себя и взлететь, поддавшись ему… он готов был на что угодно.

Захотелось вдруг пить, и он, спустившись к речке, попил, прихлёбывая из ладони.



Солнце поднялось высоко, день раздвинулся шире и стал глубже и просторней. Всё вокруг было как-то по-особенному ярко и свежо, точно Саня только что попал сюда совсем из другого, тесного и серого, мира или по крайней мере из зимы. Воздух гудел от солнца, от его ровно и чисто спадающего светозарного могучего течения; теперь, после ночи, пила и не могла напиться и насытиться солнцем земля, и так до новой ночи, когда небо опять потребует от неё свою долю. Всякий звук, всякий трепет листочка казался не случайным, значащим больше, чем просто звук или трепет, чем обычное существование их во

дню, как и сам день не мог быть лишь движением времени. Нет, это был его величество и сиятельство день, случающийся на году лишь однажды или даже раз в несколько лет, в своём величии, сиянии и значении доходящий до последних границ. В такой день где-то — на земле или в небе — происходит что-то особенное, с него начинается какой-то другой отсчёт. Но где, что, какой? Нет, слишком велик и ничему не подвластен, слишком вышен и всеславен был он, этот день, чтобы поддался он хоть какому-нибудь умственному извлечению из себя. Его возможно лишь чувствовать, угадывать, внимать — и только, а неизъяснимость вызванных им чувств лишь подтверждает его огромную неизъяснимость.

Саня принялся опять за ягоду, за дело, которое было ему по силам, но, смущённый и раздосадованный то ли неумелостью, то ли оплошностью своей, помешавшим понять ему что-то важное, что-то такое, что было совсем рядом и готово было помочь ему, расстроенный и недовольный собой, он провозился с последним бидоном долго. «Что-то», «какой-то», «где-то», «когда-то» — как всё это неверно и неопределённо, как смазано и растёрто в туманных представлениях и чувствованиях, и неужели то же самое у всех? Но

ведь, как никогда прежде, близок он был к этим «что-то» и «какой-то», ощущал тепло и волнение в себе от их дыхания и вздрагивал от их прикосновения, с готовностью раскрывался и замирал от их обещающего присутствия. И чего же недостало в нём, чтобы увидеть и понять? Какого, способного отделиться, чтоб встретить и ввести вовнутрь, существа-вещества, из каких глубин какого изначалья? Или его только дразнили, играли с ним в прятки, заметив его доверчивость и любопытство? И как знать: если бы он оказался в состоянии угадать и принять в себя эту загадочную и желанную неопределённость, раскрыть и назвать её словом — не стало бы это примерно тем же, что говорящий попугай среди людей?

Увидев, что дядя Володя направляется к шалашу, Саня пошёл вслед за ним и хотел высыпать из своего бидона в его далеко не полный горбовик, но дядя Володя неожиданно грубо и резко не позволил. Саня, очень удивлённый, отступил и поставил бидон на землю рядом с рюкзаком. Делать больше было нечего. Он сел на камень возле потухшего костра и, задумавшись и заглядевшись без внимания, окунулся опять в тепло и сияние до конца распахнувшегося, замершего над ним во всей своей благодати и мощи, рас-

крытой бездонности и нежности, без сомнения, заглавного среди многих и многих, дня. Он сидел и слабой, усыплённой, заворожённой и отрывистой мыслью думал: «Что же мне ещё надо? Так хорошо! В одно время он, такой день, и я… в одно время и здесь…»

И когда на обратном пути поднялись они с тяжёлой поклажей на вершину перевала, на тот таёжный каменный «трон», откуда волнами уплывали в дали леса; когда, встав на краю обрыва, оглядел на прощанье Саня это сияющее под солнцем без конца и без края и синеющее уже под ним величественное в красоте и покое первобытное раздолье — от восторга и непереносимо-сладкой боли гулко и отрывисто застучало у Сани сердце: пусть, пусть что угодно — он это видел!

* * *

В поздних и мягких сумерках они вышли к Байкалу, перешли через рельсовую дорогу и в высоко и округло, как остров, стоящем лесном отбое между дорогой и берегом скинули со спин поклажу. Мягкие сумерки — верный признак того, что сегодняшний день по звонкой и чистой мощи своей не повторится ни завтра, ни послезавтра,

долго-долго. Земные праздники мы знаем — то был праздник неба, который оно, небо, не может справлять только в своих просторах, то было щедрое пограничье между двумя пределами. И вот он кончился, и вот оно минуло. Догорел свет, небо потухло, не давая глубины, и затмилось; сглупа выскочили над Байкалом слабые, мутные звёздочки и тут же, как одёрнутые, скрылись. Резко и отчётливо выделяясь, темнел лес, не вставший ещё сплошной стеной, выказывающий разнорост и глубину, в нём длинными и тоскливыми вздохами пошумливал верховой ветер. Резко очерчивались густой синью и дальние берега на той стороне Байкала; вода в море, притушенная скучным небом, едва мерцала дрожащим и искривлённым, как бы проникающим из-под дна свечением.

До поезда оставалось минут сорок. Растянувшись на траве у края обрывистого берега, они не шевелились: не было сил. Гудели ноги, гудели спины — без боязни хоть сколько-нибудь ошибиться это можно было сказать о всех троих. Они замешкались сначала на ягоде из-за дяди Володи, которому хотелось добрать горбовик, потом замешкались в дороге, соблазнившись шишками, когда Митяй отыскал припрятанный

ко́лот и показал, как им пользуются в деле. Так что шли они из тайги с двумя разными урожаями — не шли, а, припозднившись больше, чем можно, последние километры бежали едва не бегом, чтобы успеть при свете. В темноте по этой тропе сам чёрт ногу сломит, не то что они. Спина у Сани саднила: нижней тяжёлой кромкой ведра, прыгающего при каждом шаге, он набил себе кровавую полосу, только теперь по-настоящему оценив достоинства горбовика. Дядя Володя к концу дороги совсем запалился, он и теперь дышал со всхлипами, делая попытки ругаться и давясь словами. Митяй молчал; привычный и не к таким марш-броскам, он устал, но не изнемог, и лежал отдыхая, а не так, как Саня с дядей Володей — пластом, мало что и видя, и слыша вокруг себя.

Отдышавшись, Митяй поднялся, нашёл справа от леска спуск к Байкалу, у воды разделся до пояса и стал шумно плескаться, пошлёпывая руками по телу и вскрикивая; Саня подумал, что и ему надо бы тоже помыться, но ноги не поднимали. Митяй, взбодрённый и повеселевший, вернулся с котелком воды и, развязывая притороченную к горбовику торбу с оставшейся едой, сказал:

— Хорошо бы чаёк сварганить, да не успеем.



Саня потянулся к рюкзаку, достал из него хлеб и мятые яйца, кое-как вытянул из кармашка кружку. Что хотелось, так это пить. Теперь, когда немного отдохнули и вязкая горечь из горла ушла, давала знать себя глубокая, требовательная жажда. Он залпом выпил кружку, хотелось ещё. Дядя Володя тоже потянулся к котелку и принялся пить через край, толстое и морщинистое горло его ходило как мехи. Митяй подождал, пока дядя

Володя оторвётся, выплеснул остатки и протянул ему котелок:

— Теперь твоя очередь.

— Вон парень сходит, — прохрипел дядя Володя, передавая котелок Сане.

Саня спустился, заставил себя умыться, вытер лицо рукавом рубашки и, замерев, прислушался. Всё вокруг затаённо жило своей отдельной, не сходящейся в одно целое жизнью: так же пошумливал в верхушках деревьев вялый, прерывистый ветер, слабо шевелилась с облизывающимся причмокиванием вода, пестрела, отдавая теплом, россыпь камней на берегу, плавали в воздухе над водой с резким моторным звуком круглые чёрные жуки. Сверху доносились неразборчивые и недружелюбные голоса дяди Володи и Митяя. Когда Саня подошёл, они смолкли. Он снова налил в кружку воды и принялся очищать яйцо. Есть по-прежнему не хотелось — по-прежнему хотелось пить, но, чтобы получить у кого-то право на воду, он заставил себя проглотить невкусную и тёплую мякоть яйца.

Рюкзак сполз с ведра, и оно, обвязанное сверху тряпкой, выделялось в темноте резкой, раздражающей глаз белизной. Саня не поленился и прикрыл ведро.

— Ну и что ты собираешься делать с этой ягодой? — вдруг спросил дядя Володя, спросил негромко, но как-то значительно, с ударением.

— Не знаю, — пожал плечами Саня. Он решил, что дядя Володя спрашивает потому, что не уверен, сумеет ли он, Саня, обработать без взрослых ягоду. — Сварю, наверное, половину… половину истолку.

— Нельзя её варить, — решительно и твёрдо сказал дядя Володя. И ещё решительней добавил: — И есть её нельзя.

— Почему?

— Кто, какой дурак берёт ягоду в оцинкованную посуду? Да ещё чтоб ночевала! Да такая ягода!

Саня ничего не понимал: какая такая особая ягода? При чём здесь ночевала? Что такое оцинкованное? Шутит, что ли, дядя Володя?

Митяй не сразу, с какой-то излишней задумчивостью и замедленностью поднялся, нагнулся над Саниным рюкзаком и стащил с ведра тряпку. И увидел — ведро действительно оцинкованное.

— Ты, гад!.. — оборачиваясь к дяде Володе, начал он. — Ты что же это делаешь, а? Ты что же это?.. — Он двинулся к дяде Володе, тот вскочил. — Ведь ты же видал, ты знал, ты, главно, там видал! И дал парню набрать, дал ему вынести

— ну, не гад ли, а?! Я тебя!..

— Только тронь! — предупредил дядя Володя, отскакивая, и закричал: — А ты не видал? Ты там не видал? Ты не знал? Чего ты ваньку валяешь? Оно на виду, оно открытое стояло! Ты что, маленький?!

Митяй опешил и остановился.

— Да видал! Видал! — завопил он. — Знал! Но у меня, главно, из головы вон. Я смотрел и не видел. А ты, гад, ждал. Я забыл, совсем забыл!

— Больше не забудешь. Учить вас надо. И парень всю жизнь будет помнить.

Митяй заметался, словно что-то подыскивая под ногами, на глаза ему попалось ведро с открытой ягодой, — решительно и вне себя он выхватил это ведро из рюкзака и резким и быстрым движением вымахнул из него ягоду под откос. Она зашелестела, скатываясь, и затихла.



— Митяй, ты что?! — вскочил до того сидевший и всё ещё ничего не понимавший Саня. — Зачем ты, Митяй?! Зачем?!

— Нельзя, Саня, — торопливо и испуганно забормотал Митяй, и сам поражённый той решимостью, с которой он расправился с ягодой. — Нельзя. Она, главно, за ночь сок дала… сам отравишься и других… никак нельзя в оцинкованное… Ну идиот я, ну идиот. От и до. Ходи с таким идиотом…

Он сел и затих. Саня подобрал ведро и поставил его в рюкзак, потом аккуратно, со странной внимательностью следя за собой, как за посто-

ронним, застегнул рюкзак на все застёжки.

— Теперь, дядечка Володечка, ходи и оглядывайся, — неожиданно спокойно сказал Митяй. — Такое гадство в тайгу нести… мало тебе посёлка?!

— Сядешь, — так же спокойно ответил дядя Володя. — Сидел и ещё сядешь.

— А я об тебя руки марать не буду, — уверенно и как дело решённое заявил Митяй. — На тебя первая же лесина сама свалится, первый же камень оборвётся. Вот увидишь. Они такие фокусы не любят… ой, не любят!

Стал слышен стукоток поезда.

…Сане снились в эту ночь голоса. Ничего не происходило, но на разные лады в темноту и пустоту звучали в нём разные голоса. И все они шли из него, были частью его растревоженной плоти и мысли, все они повторяли то, что в растерянности, в тревоге или в гневе мог бы сказать он. Он узнавал и то, что мог бы сказать через много-много лет. И только один голос произнёс такое, такие грязные и грубые слова и таким привычно-уверенным тоном, чего в нём не было и никогда не могло быть.

Он проснулся в ужасе: что это? кто это? откуда в нём это взялось?

1981 г.




«КЛАССНАЯ КЛАССИКА» —
ЭТО КНИГИ, КОТОРЫЕ КАЖДЫЙ
ДОЛЖЕН ПРОЧИТАТЬ В ДЕТСТВЕ.
Рассказы В. Г. Распутина, без преувеличения одного
из величайших писателей современности, во многом
биографичны. Его герои попадают в разные, порой
очень непростые, ситуации, у каждого из них свои
жизненные университеты. И очень важно, чтобы они
вынесли для себя правильный урок, выбрали в жизни
верную дорогу, ведущую к «совести, вере и красоте».
Произведения Валентина Григорьевича Распутина
ВХОДЯТ В ШКОЛЬНУЮ ПРОГРАММУ.
Книги этой серии содержат вступительные статьи,
которые помогут подготовиться к урокам литературы.
Статьи знакомят с жизнью и творчеством писателей-классиков,
позволяют понять, как они работали, что их вдохновляло,
а также дают представление об их литературном наследии.
16+